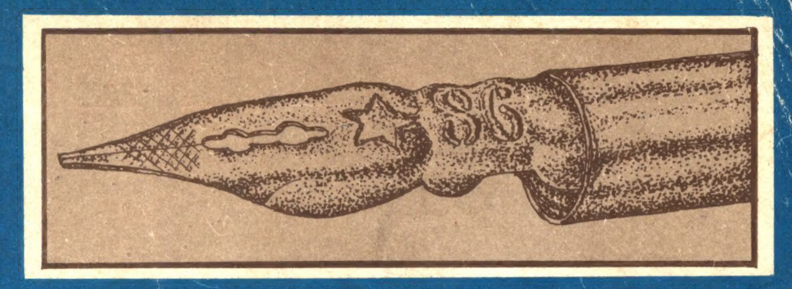
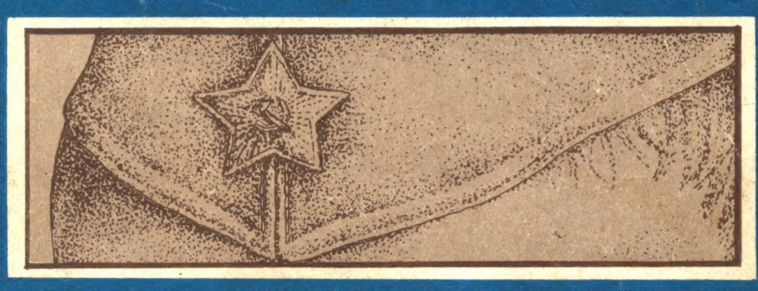




Борис Путилов

СОКРУШЕНИЕ ЛЁХИ БЫКОВА

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство

Борис Путилов

СОКРУШЕНИЕ ЛЁХИ БЫКОВА

Свердловск
Средне-Уральское книжное издательство
1982

Р2
П90

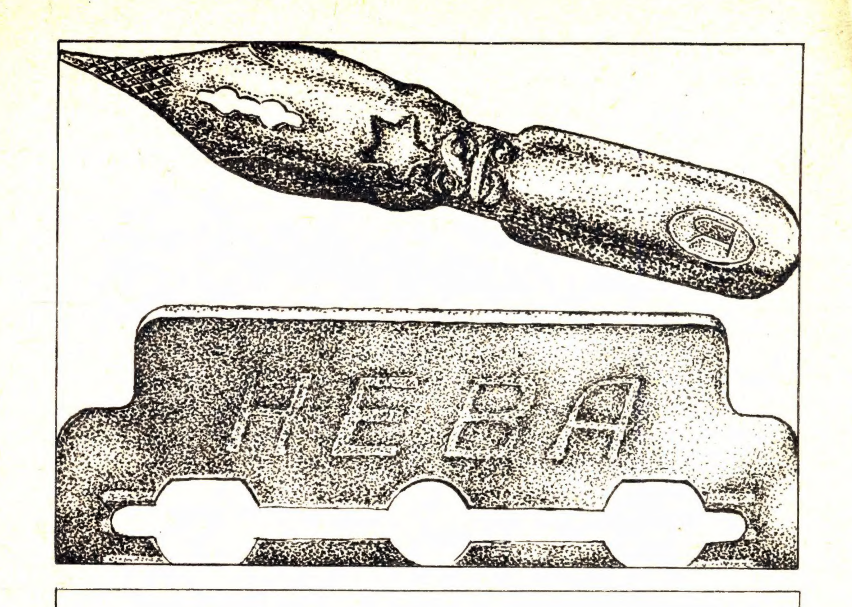
Для старших школьников

П 70803—081 / М158(03)—82 4803010102

В начале жизни школу помню я...

А. С. Пушкин

Нет ничего естественнее и благороднее для человека, чем свержение злого владычества. Я говорю не только о жизни взрослых. У детей эта борьба выражена еще отчетливее, еще непримиримей: они ближе к истокам, и течение их помыслов не так замутнено сложностями человеческих взаимоотношений.



1.

В пятом классе к власти у нас пришел демос — общее собрание свободных граждан. Как в Афинах при Перикле. Или на наших зыйских улицах, сколько я их помню. Слабая половина человечества голоса на собрании не имела, и не потому, что мы девчонок за людей не считали, нет: в тот 1943 год, год великого перелома, томимые даже в войну жаждой реформ и преобразований, отцы нашего просвещения ввели, как в доисторические времена, раздельное обучение. Чтоб сподручнее было готовить из нас суровых воинов-спартанцев, а из девчонок, огражденных от пагубного мужского влияния, формировать высоконравственных боевых подруг.

Как всякий возврат к старому, сия реформа принесла мало путного, лишь до времени ожесточила, одикарила наши мальчишечьи нравы, а девчонок сделала еще жеманней. Что-то ненародное, несовременное в ней было, и через двенадцать лет, срок возрастания целого поколения — к сожалению, нашего,— она рухнула.

Но о разумности некоторых школьных реформ у нас будет еще возможность поговорить. Вернемся к вопросу о власти.

Итак, в пятом классе вся ее полнота перешла к демосу. Навсегда, как казалось, и бесповоротно.

Бесповоротно и навсегда потому, что к ней мы пришли и через поклонение тиранам — сперва, и через кровавую борьбу с ними — потом...

Этот страшный хромец явился ко мне с осени, с первых уроков истории. В четвертом классе мы расстались с нашей родной и единственной учительницей Тамарой Арсентьевной. В пятом классе к нам нагрянуло их сразу много, на каждый предмет по учителю. Больше других нас поначалу напугала историчка. Учительница истории Таисия Макаровна, маленькая старушонка, прозванная школярами с метким и злым зыйским юмором Тасей-Маковкой, боготворила великих завоевателей и принципалов. Может, была тут некая патология: для карлицы и старой девы, принявшей, видно, от людей-людишек немало горя, существование титанов, умевших пускать кровь ничтожному обывателю, было утешением. Может быть... Во всяком случае, великие тени были ей ближе живых людей.

Всклокоченная, седая, крючконосая, она таскала под мышкой большой, до матерчатой основы истертый портфель, за которым, привязанные к нему лямками, чтоб не потерялись или чтоб «шалопаи», мы то есть, не украли, тянулись по полу указка и толстая ручка с 86-м пером. Она заходила в класс, как Баба-Яга в ступу, влезала на кафедру, и на стриженные от голодной вшивости под ноль головы наши обрушивались имена Рамзеса и Хаммурапи, Александра и Цезаря.

— Убившие царя Кира бросили его голову в мешок с кровью. «Ты хотел крови — напейся ею»,— кричала Тася-Маковка, и ее источенное скудным учительским пайком лицо горело белым огнем.— Но бескровная война — утопия! Слюнявый гуманизм! Все великие державы создавались на костях. Старое никогда не уходило само. Все его плотины рушились только под потоками крови!..

Она была сильным преподавателем. Страстным, знающим, от бога. И, главное, не сюсюкающим, не подлаживающимся под нас, не боящимся сложностей.

С учителями нам вообще повезло. Суровый и больной директор наш Виктор Иванович Сидоров, Витя, собрал в своей окраинной школе на Зые лучших учителей Моего Города. Как это он сумел, не знаю, но факт есть факт: все наши учителя, начиная от самого Вити, ведущего математику, и кончая одноруким военруком Юркой-Палкой (Юрием Павловичем), были мастерами своего дела...

Особенно меня поразил в ее рассказах Тимур. Не тот прекрасный гайдаровский мальчик, в последователей которого, в тимуровцев, мы «играли» почти каждый день, до обморочной усталости пиля сучковатые мокрые дрова на школьном дворе, а Тимур Самаркандский, Темирленг, железный хромец, покоритель мира. Его мы должны были проходить в шестом классе, в курсе истории средних веков, но как-то под запал, среди других завоевателей, она поведала нам и о нем... Маленький пастушок, в десять лет он еще пас овец, в пятнадцать убил первого человека, в двадцать поступил на службу к могучему хану, чтоб затем убить и его. В тридцать четыре он стал великим эмиром, в шестьдесят девять — властителем почти всей известной в то время земли. (Тася-Маковка схватила указку, привязанную к портфелю, и, насколько доставал взмах ее короткой ручки, отполосовала на карте от Азии большущий кусок.) По старой турецкой карте Махмеда Кашгарского его владения распространялись от «земли, где живут человеко-звери» (Россия), на севере до «области негров» на юге, от «страны амазонок» на западе и до Жины на востоке.

Он низринул и вырезал Дели и Тифлис, Багдад и Герат, он сровнял с землей столицу Золотой орды — великий Сарай-Берке. Он воздвиг Самарканд. Столицу мира...

Я сделал из старого полотенца тюрбан, воткнул в него яркое перо, с боем вырванное из хвоста нашего старого петуха, выстругал кривую саблю, и, когда на срубах недостроенного дома моего дяди Коли, ушедшего на фронт, мы играли в войну («войнушку»), я представлялся Темирленгом. Даже прихрамывать стал и волочить за собой ногу, дурачок. И осевшую набок глухую кержацкую часовенку у речки Зыйки стал называть: мечеть Биби-ханым... Только в играх тех я допускал одну историческую вольность: я шел с несо-

крушимой конницей своей далеко на запад и в союзе с русскими — громил немцев. Страшными ударами своей кривой сабли сокрушал тевтонских, закованных в железо рыцарей...

Время и жизнь все поставят на свои места. Отведет в одном углу мозга, там, где сосредоточена почти вся моя ненависть, место тиранам. Я пойму, что из-под фундаментов Биби-ханым, Тадж-Махала, Василия Блаженного — всех прекрасных зданий времен всех культов — до сих пор струится кровь и камни их скреплены раствором, замешенным на человечьих слезах. Но и тогда, в детстве, игры в завоевания Темирленга и вообще в «войнушку» длились недолго: в третьей четверти началась в нашем классе настоящая, неигрушечная война. С живым тираном. С Витяем Кукушкиным. Да и вдохновенные вопли Таси-Маковки уже звучали из другой оперы, звали нас на другие дела — с тем же неистовством она проповедовала теперь борьбу за свободу. Может быть, не ненависть к людям, а возможность освободиться от их злой воли являлась ее истинной страстью. И нас, выросших на свободе и народовластии родных улиц, захватили другие образы: Перикла и Демосфена, братьев Гракхов и Спартака. Наши зыйские улицы тоже, случалось, подчинялись обстоятельствам, но стоять на коленях добровольно — никогда охоты не имели...

— Эт-то хто? — спросил Витяй Кукушкин.— В очках не слышу.

Мишка Беляев встал от теплого бока печки и, несмотря на явно проступившую в лице его дистрофию, начал игру: приложив два пальца к воображаемому гусарскому киверу и доказывая тем свою принадлежность к любимцам еще одной нашей безумной учительницы — литераторши Екатерины Захаровны, Жабы, по-школьному, доложил:

— Лейб-гвардии гусарского полка корнет Лермонтов.

— Мишка, значит? — спросил ласково Витяй, он был не совсем балбес. И, схватив «корнета» за отвороты старой бархатной курточки, как червяка, выволок его с той же ласковой улыбкой из-за парты.— Ползи отсюда, доход.— Повернулся к своему дружку-оруженосцу с бритым шишкастым черепком.— Падай рядом, Хрубила...

Они, полдюжины ребят из 10-й школы, со страшной Заречной улицы, появились у нас с первыми холодами, когда их школу, как и другие новые школы, отдали под госпиталь. А наша, средняя 9-я, ни под какие госпитали не годилась. С фасада, с улицы, она была еще ничего: выходила туда каменной небольшой своей половиной, к которой сзади, с огородов, было пристроено длинное деревянное, со временем обветшавшее, но по количеству классов главное здание. Таким образом, школа наша напоминала мифического древнего кентавра — деревянное туловище лошади и каменная человеческая голова. В ней, в голове, размещались канцелярия, учительская и старшие, с восьмого, классы, мы же, мелкота,— в огромной и ветхой деревяшке.

И вот сюда, в нашу деревяшку, и пришли зареченские. Но слух о них, особенно о Витьке Кукушкине, летел впереди, загодя нагоняя страх.

В младые свои лета Витька был на побегушках, «шестерил» у своего двоюродного брата Митяя Кукиша, огромного, вечно сонного, белобрысого уркагана. Но к двенадцати годам, оставшись на второй год в пятом, Витька оперился сам, сам вышел в Витяи, в атаманы своих зареченских сверстников. А я уже тогда знал, что нету злее, изощреннее и подлее того, кто вышел в главари-тираны из бывших слуг и «шестерок»: они пытаются компенсировать свои бывшие рабские унижения сегодняшними злодеяниями — хоть того же Тамерлана возьми. Да если он к тому еще и рыж, как Чингисхан.

Витяй пиратствовал больше в акватории Зыйского пруда: угонял лодки и грабил-вытаптывал огороды летом, снимал лыжи и коньки с пацанов зимой. И просто бил — походя.

Раз пересеклись и мои с ним пути.

Прошлой зимой отец принес мне с завода новые палки. Ему выдали за его работу какую-то небольшую премию, и он, чудик, несмотря на ругань практичной мамы, взял в награду себе не спирт или табак, как все, а бамбуковые лыжные палки! И вручил мне. И я без прежнего стыда выехал в следующее воскресенье со двора: пусть лыжи у меня и были хоть сейчас выброси, не лыжи, а обрубленные сзади почти до пяток и невообразимо длинные впереди деревянные взрослые самоделки (их я нашел на чердаке нашего дома, они оста-

лись от старых хозяев), зато палки сверкали на загляденье — желтые, сказочно легкие, с шишкастыми черными утолщениями в суставах, твердо и надежно упирающиеся металлическими на лямочках кружками даже в мягкий снег! С ними я мог не ползать втихаря в пологом Прямом переулке, а пофорсить и на самом Пандуринском пупыше — крутой горе, на вершине которой стояла водонапорная башня, поящая водой весь Мой Город. И я разлетелся с самого верха, на глазах у всех лихо отталкиваясь своими великими палками. Но лыжи-то мои остались теми же, до предела обрубленными сзади, и на трамплине, взлетев вверх, несуразно длинные, загнутые передки их опрокинули меня в сугроб... Я вылез из него под общий хохот. Но палок своих заветных не выпустил. И вдруг смех умолк.

Ко мне шел со своей шайкой Витяй Кукушкин.

Шел, напустив из-под шапки на лобик косую рыжую блатную челку и ласково улыбаясь. А руки у него были засунуты в карманы, где — можно не сомневаться! — лежали или финяк или «писка»: лезвие от безопасной бритвы, перетянутое посередке изоляционной лентой,— чтоб удобнее было держать его между указательным и средним пальцами. Вообще-то такие бритвы были на вооружении «щипачей», воров-карманников: ею удобно было незаметно развалить «сидор» у зазевавшейся торговки на рынке или срезать карман с деньгами. Но сейчас, с войной, бритвы все чаще и чаще пускались в дело: одним движением полоснет, словно погладит по щеке, и щека до зубов — пополам. Эту нехитрую жуткую операцию я уже не раз видел — и в огромном нашем деревянном цирке, и в киношках наших — «Искре» и «Горне». Но тогда ей подвергались другие — сейчас шли на меня...

— Ты чо ревешь? — спросил отец, прибежав на обед. В войну он работал и по воскресеньям.

— А — палки...— только и смог выговорить я.

— Кто? Где?

— На Пандуринском... Зареченские...

Отец бросил ложку.

— Пошли.

И мы пошли, побежали,— сперва улицами по дороге, потом по пруду, прямо снежной целиной, под которой вполне могли скрываться полыньи: дело-то шло

к весне. Но мне надежно было за широкой в замасленной фуфайке отцовской спиной. Мой большой, мой стеснительный в общении с людьми батя, похоже, вообще не знал, что такое страх: он вырос в лесу, в суровой ватаге лесорубов, десятилетним видел, как колчаковцы расстреляли его отца. И страха он не знал, не то что я, его сын...

— А старший-то вроде трусом у меня растет,— словно угадав мои мысли, сказал он.— Такие палки отдал!

Он выскребся из сугроба на твердый берег.

— А если бы меня Кукушкин подколол или «пописал»?

— Как это? — не понял отец.

— Бритвой по лицу — и наши не пляшут.

— Бритвой? — Отец подхватил меня за воротник и вытащил на тропинку, ведущую к водонапорной башне.— А палки-то я тебе на что дал? Ими бы и отбился. Подумаешь — бритва!.. Ну, который твой «писака», показывай...

На Пандуринском пупыше по-прежнему гоняли пацаны — кто на ломаных-переломаных, довоенных еще лыжах, а кто и вовсе, вроде меня, на самодельных: в войну лыжи, как и снаряды, которые делал на своем заводе отец, шли только на фронт... Ребята гоняли, но Витяя с его прихлебателями не было, смылся, гад!

— Ничего не сделаешь, мне его ожидать некогда,— сказал отец и бегом пустился под гору, где грохотал завод. Он так из-за меня и не пообедал тогда. И таким, бегущим большущими шагами, будто летящим под гору к своему заводу, я и запомнил его на всю войну: в армию он ушел глубокой ночью, когда мы с братом Вовкой, сморенные своими военными играми, спали без задних ног...

Сейчас, год спустя, Витяй Кукушкин — все та же косая челочка и лисий, сплющенный вечной улыбкой подбородок — вместе со свитой стоял перед нами. Он вошел в наш, чужой для него класс как хозяин. Меня он вроде и не узнал, он наметанным глазом маленького тирана выделил для начала объект послабее — державшегося из последних сил Мишку Беляева и двинулся к нему.

— А ну ползи отсюда, доходяга. Приземляйся рядом, Хрубила.

И бедный, без того зябнущий Мишка снова пере-

шел к холодному окну, откуда, пожалев, пересадила его раньше к теплой печке Екатерина Захаровна, Жаба.

— А тут Ташкент, Хрубила,— сказал Витяй.— До весны перебьемся, а там рванем когти,— Москва — Воронеж, хрен догонишь...

И мы промолчали... Мы замолчали надолго. Точно как в рассказе Таси-Маковки: «Вместе с телами, зарытыми при Херонее, была зарыта свобода греков...» Меня, повторяю, Кукушкин не замечал: он или почувствовал мой кое-какой авторитет среди наших ребят, или все-таки узнал, что мой отец искал его тогда на Пандуринском пупыше. Меня он оставил напоследок. Пока же, чтоб держать класс в страхе, он нашел более жалкие, более безответные жертвы. Того же Мишку Беляева, в свои одиннадцать лет уже покрывшегося по опухшим щекам длинными бледными волосиками — страшной дистрофической бородой. И еще одного человека — смешного, нелепого, по фамилии Далин. Оказывается, новый хозяин нашего класса любил повеселиться.

«Люблю повеселиться, особенно пожрать!..»

В большую перемену дежурный по классу шел в каменную часть школы, где внизу была маленькая кухонька, и приносил оттуда на подносе кучу серых, с наш кулачок, булочек и по кулечку коричневого, крупнозернистого сахарного песка — наш обычный военный завтрак: страна, как могла, поддерживала свое будущее.

Первый после появления кукушкинцев завтрак прошел обычно: ребята подходили по одному, отоваривались и — ешь не хочу. Витяй Кукушкин сидел, приглядываясь. Но уже на другой день наши булочки и наши сахарные кулечки вместе с подносом пинком одного из его «шестерок» были подняты в воздух, и на драгоценных россыпях, на грязном полу класса началась куча мала: хватай, кто успеет!

Такие представления новый хозяин устраивал .ежедневно и ежедневно, не вставая с места, наблюдал, как деремся мы на полу из-за своей жалкой добычи; только улыбка его из ласковой становилась презрительной. Но этого ему было мало. Когда все кончалось и когда вовсе обессилевший Мишка Беляев уползал к своему окну пустой и, кусая пальцы, начинал голодно выть,

Витяй брал из десятка булочек, дани, принесенной ему его вассалами, одну и подходил к Мишке.

— А ну представь картину,— говорил он,— откусить дам.

И Мишка представлял, обычно из любимого «Айвенго»:

— И вдруг прекрасная Ревекка, обливаясь слезами, прижала к пышной груди рыцаря своего сердца! — декламировал он, не сводя глаз с заветной булочки, которую Витяй все приближал к его губам, но в последний момент отдергивал, и Мишкины зубы с лязгом кусали воздух.

— В натуре реви! Как в театре! — хохотал Витяй, и мы, жестокие, тоже смеялись. Мишка начинал свое представление снова, уже с заправдашними слезами, но только перед самым звонком Витяй позволял ему сделать настоящий укус. Поэтому в дальнейшем, чтоб вызвать смех, чем угодить своему мучителю, Мишка начинал по-волчьи лязгать зубами уже загодя, на его подходе. Но этого Витяю показалось мало. Откуда-то узнав о второй, кроме книг, Мишкиной страсти — пении, Витяй стал заставлять его петь. Всегда одну песню, вариацию знаменитой — «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан». Там действовала коварная прекрасная леди; у которой были голубые глаза и дорожная серая юбка. И которая, одарив капитана ночью безумной любви, «бортанулась» с его корабля, как чудесный призрак, чем навсегда разбила каменное сердце морехода.

Начинал Мишка тихо, с трудом, но, дойдя до слов: «У ней такая маленькая грудь, и губы ее алы, как кораллы!» — впадал в транс и уже опять с настоящими слезами звенел своим, по-моему, редкого чувства голосом так, что у меня что-то обмирало в груди:

Закури же, седой капитан,
Свою старую, верную трубку
И забудь голубые глаза
И дорожную серую юбку!..

Мишка глотал вместе со слезами жесткую булочку, а Витяй хохотал:

— Да ты, оказывается, не Лермонтов, ты, доходяга,— Леонид Утесов!

Далина же — второго нашего дохода-дистрофика —

Кукушкин заметил позднее, заметил с удивленной злостью: Далин один из нас всех не ползал по полу, воюя за свой завтрак,— он, как и сам Витяй, продолжал сидеть за партой. Он сидел, словно одеревенев, в зеленом глухом, до подбородка, и с отложным воротником своем френчике, в ту пору называемом «сталинкой», сидел прямой и иссиня-бледный, прикрыв свои больные глаза слипшимися в гнойные комочки редкими ресницами.

Нашего тирана обидел и даже оскорбил такой стоицизм.

— А ты, гнида, хватать не желаешь?

Далин разлепил реснички:

— Да, я сыт.

— И сахару не хотишь?

— Нет,— ответил Далин, снова закрывая глаза.

Тогда Витяй вырвал из рук своего помощника Ваньки Хрубилы измятый кулечек с сахаром и высыпал его коричневое, колючее и липкое содержимое за воротник «сталинки», на прямую худую спину несчастного Далина. Но тот даже не вздрогнул, сидел как деревянный. И в первый, и во второй, и в третий раз. Тогда взбесившийся Витяй отколупнул от угла карты Древнего Рима ржавую кнопку, приказал Ваньше Хрубиле поднять легкое, словно бесчувственное тело Далина, положил кнопку на скамью, и Ванька Хрубила, блестя своим голым черепом палача, опустил Далина на эту кнопку. Но Далин и тут не издал ни звука, не дрогнул — он сидел такой же прямой, иссиня-бледный, будто закоченевший в своей «сталинке».

Витяй засмеялся. Но странно, класс не поддержал его, как в случае с Мишкой Беляевым,— молчали даже «шестерки»: в безмолвном мученическом сидении Далина было нечто, наводящее не веселье, пусть горькое, но страх.

Даже Витькин визглявый смех скоро смолк — все же, несмотря на испорченную и злую свою душонку, он тоже был ребенок...

А Далин сидел. Сидел так же одиноко и прямо и после исчезновения Витяя Кукушкина. Сидел весь пятый класс. Потом шестой. Потом седьмой. Вставая только для тихих, бесцветных, но четких, точно по учебнику, ответов. Сидел, пока не поступил учиться в горный техникум.

Знаток же литературы, любимец Жабы и великий актер Мишка Беляев не выдержал. Не дожил до весны. До свержения злой власти. Но смертью своей он сделал шаг к нашей свободе...

Новые ученики в ту пору в школе появлялись редко — старые исчезали почти каждый день. Уходили на завод за большой хлебной карточкой, поступали в ремесленное на полное гособеспечение или просто пропадали неизвестно куда. И никто не искал их. Не то что сейчас... Так однажды мы не увидели у окна и опухшего, в белой бороде Мишкиного лика. Сперва нам скучно было без «представлений», а после вроде даже полегчало: совесть нас, сравнительно сытых, не так, видно, стала мучить.

Но вот — мне в жизнь не забыть того мартовского хмурого утра, когда на оттаявшую под солнцем землю снова упал ночью белый и тоскливый, будто саван, снег,— в класс вошла учительница литературы Екатерина Захаровна, Жаба. Она не кинулась, как обычно, с ходу пытать нас опросом, а подошла к окну, к пустующему Мишкиному месту, и, по привычке с хрустом ломая свои морщинистые лягушечьи пальцы, стала смотреть на коченеющий снег. Мы зашушукались, завозились было, но она жалобно проквакала:— Замолчите, изверги! Миша умер...

В ее голубых выпуклых глазах стояли слезы.

— Кто из вас мучил его? Смерть его ускорил?

Мы ошарашенно молчали. Но все, как один, невольно уставились на Витяя. Даже его «шестерки». Даже верный телохранитель Иван Хрубила зло и страшно уставился на своего принципала. Но Жаба услышала в нашем молчании только немой отпор. Она медленно вернулась к кафедре, открыла классный журнал, но тут же захлопнула.

— Опроса не будет. Будем читать вслух.— Жаба подвинула стул к первой парте, взяла хрестоматию, села лицом к нам. Раньше она читала стоя, но сейчас ноги уже не держали ее: она, бессемейная и бездомная Жаба, голодала не меньше самых голодных из нас.

— Владимир Галактионович Короленко,— сказала она. И голос ее враз утратил квакающие жалкие интонации — он стал печальным и четким.— «Дети подземелья».

Таким образом, к смерти Мишки Беляева в то утро

прибавилась еще одна — маленькой дочери страшного и доброго пана Тыбурция. И неизвестно, чья смерть, наша ли, близкая, всамделишная, или та, далекая, придуманная, тронула нас больше... «В подземелье, в темном углу... лежала Маруся... горькие слезы... при виде этого безжизненного тела сдавили мне горло...» Но их, готовые пролиться слезы наши, остановил вдруг от парты к парте переданный странный слух:

«После уроков Витяй станет Хрубилу уродовать! В яме на Зыйском Криуле...»

«Почему не кого-то из нас, а помощника своего Ваньку?» — сперва не понял я. Но потом догадался,— почувствовав зарождение бунта, Витька решил раздавить его самым простым и жестоким образом: бей своих, чтоб чужие боялись! «А может, это только игра в поддавки, устроенная для нашего устрашения?..»

Но это оказалась не игра. И не поддавки.

Яму на улице Зыйский Криуль раскопали еще в мирное время, видно, хотели тянуть тепло на нашу окраинную Зыю, но с войной ее так и бросили, довести до ума не хватило сил. И она стала надежным и постоянным местом поединков, нашим ристалищем — и от школы недалеко, и постороннему глазу не видно.

Томимые страхом, надеждой, жутким любопытством, мы двинулись к ней.

Прошли годы, было всякое, но картина той заснеженной глубокой и длинной ямы, на дне которой сходились двое разъяренных мальчишек, мне и сейчас кажется кадром из какого-то фильма ужасов, где господствовали три цвета: белый, черный и красный.

— Ну, бей, падло,— шипел Витяй, ворочая правой рукой в кармане.— Ударь, храбрый...

И Хрубила — он был почти на голову выше своего бывшего атамана — ударил, но Витяй увернулся и врезал сам — левой: правую руку он по-прежнему глубоко держал в кармане. Ванькина шапка, оголив его бритый, костистый череп, полетела в снег. И тут же правая рука Витяя прорезала воздух, шаркнула по голой Ванькиной голове. Хрубила взвыл — с лысой его макушки на искаженное страхом, болью и злостью лицо брызнула светло-розовая струйка. Ребята, стоявшие наверху по краям ямы, ахнули испуганно, но Ванька не отступал, он, как ослепший от ярости бык, попер вперед, мотая своей башкой, голой, брызжущей кровью.

Витяй отскочил, но, выбрав момент, снова взметнулся вверх и снова чиркнул своей правой — в ней между указательным и средним пальцами и была зажата «писка» — обтянутое изолентой лезвие безопасной бритвы.

— Всего испишу! — взвизгнул он.— С-сучонок продажный!..

Откуда он взялся, это маленькое исчадие ада на нашей Зые? Может, он ею и был порожден? Ее жестоким, пьяным и кровавым прошлым? Или был привнесен к нам вместе с черными бараками, где, в дальнем и грязном конце Заречной улицы, жили раскулаченные, свезенные туда с многих дальних концов страны? Или просто он был выродком войны: война — это не только народный героизм, но, как всякое бедствие, она рождала и подлость, и жестокость... Не знаю. Тогда мне было не до копания в его корнях, а сейчас — со временем — они и вовсе потерялись...

Пораженный вдругорядь, Хрубила не выдержал. Он повернулся и побежал, тяжело скользя по снегу своими разбитыми обутками. Витяй в два скачка догнал его и всем телом на лету толкнул в спину — Ванька рухнул, в падении уже закрывая руками окровавленную свою голову. Я зажмурил глаза — все...

Меня разбудил, привел в себя испуганный и в то же время радостный крик:

— Военрук бежит! Юрка-Палка!..

Наш однорукий военный руководитель бежал сюда, видно, не первый раз, поэтому торопился. Занося на бегу свое тело в правую, безрукую сторону, чтоб сохранить равновесие, он проскочил мимо нас, но у самой ямы все-таки поскользнулся и, пятная свою длиннополую кавалерийскую шинель грязью и снегом, в яму скатился на боку и встал с трудом. Это позволило и Витяю, и воскресшему Хрубиле броситься наутек.

Догнать их Юрка-Палка, наш инвалид, конечно, не мог. Он стоял, трясясь и скрежеща зубами, на дне ямы и держал в своей единственной руке Ванькину шапку. А может, он их нарочно не стал догонять, нас испытывал? Может, решил, мудрый, что свою борьбу мы должны довести до конца сами, сами, без посторонней помощи победить зло? Тоже не знаю. Но знаю точно: это великое дело, большое счастье, если в детстве у тебя отчаянный, храбрый и, главное, умный военный

руководитель! Если такой тебе встретится — ты уже наполовину человек.

Юрка-Палка успокоился, отдышался и бросил Ванькину шапку вверх нам: мол, отдадите хозяину, и, выкарабкавшись из ямы, пошагал к школе, на ходу заправляя за офицерский ремень пустой рукав своей шинели... В школе он паники не поднял, директору не доложил, а через пару недель, когда снег сойдет совсем, он выведет нас на поляну за школой и начнет вместе с нами играть в футбол. Его станет на бегу заносить, он со всего маху будет грохаться на правый, без руки бок, бередить незажившую культю. Но снова вставать и бегать. И забивать голы...

А падение Витяя Кукушкина случится раньше, оно было предопределено: низы уже не хотели жить по-старому и им были не страшны больше ни кровь, ни подлая Витькина «писка». Пришедший на другой день с перевязанной головой Ванька Хрубилов был встречен нами хоть и не приветственными криками, но как герой, и не сел с Витяем у печки, а демонстративно «приземлился» на Мишкино место у холодного окна. В затылок со мной.

Витяй будто не увидел его окончательной измены, он сидел, уставясь в печку, обложенный нашей злостью и молчанием, как одинокий волк охотничьими флажками.

Но окончательный крах его ускорил тот, кто с ним так и не встретился,— мой отец, мой чудаковатый батя, который еще глубокой зимой, в крещенские дикие холода, вернувшись с работы, притащил в избу замерзающего голубя.

— В наших сенках, в темнотище, как шарахнется ко мне! — растерянно рассказывал он, передавая мне в руки холодную и тихую, лишь внутренне дрожащую птицу.— Я с перепугу подумал: сова! А это почтарь, да не простой, окольцованный! Видать, окоченел в дороге и к нам залетел погреться, до места добраться сил не хватило. На красной лапке птицы и верно было кольцо из светлого металла с выбитыми по нему цифрами и буквами — «1941 КВ».

— Это же номер и шифр его части! — заблажил я, осененный ослепительной догадкой.— Военный почтарь! Больше некому...

Действительно, домашних голубей у нас на Зеле-

ной, когда-то знаменитой своими голубятнями, давно не держали. Голубятники ушли на фронт, а бедных птиц съели. Вольных же сизарей, живущих по высоким каменным чердакам, на нашей одноэтажной деревянной Зые тоже тогда не было. Да и не подходил отцовский найденыш на виденных мною раньше голубей: стремительное, сильное, с жестоким и плотным оперением тело, гордая посадка головы.

— Ясно, военный! — кричал я, одурев от привалившего счастья.— Может, при нем письмо есть? Тогда надо сообщить куда следует!..

Но никакого письма на голубе не было, и он остался у нас. Вернее — она, потому что отец по маленькой головке определил, что это голубка.

В доме нашем, уныло замолчавшем после первых месяцев войны, снова поселилась радость. Она вольно летала под потолками, зная, однако, и свое постоянное место — нашу с братом Вовкой комнату, где всегда у ней было питье и корм: хлебные крошки, картофельная шелуха, а в счастливые дни — подсолнечное и конопляное семя, пшено. Я и сейчас вижу перед собой эту прекрасную птицу, светло-серую, всю словно вырезанную из стали, только шейка, на которой высоко держалась головка, отливала драгоценной зеленью, и подсад у крыльев и хвоста белел с нежной розоватостью. Красивая и гордая была особа!

Однако с уходом отца на фронт, с наступлением весны голубка наша стала проявлять признаки беспокойства, билась об окна, мало и неохотно ела и начала быстро худеть. Ее грудной киль, раньше почти не ощутимый под сильными мышцами, сейчас выступал все сильнее и сильнее и, когда я брал ее, остро врезался в ладонь.

Птица гибла — я метнулся к бабушке. Но та, сестра милосердия еще первой германской войны, хорошо разбирающаяся в болезнях людей, птичьих хворей не знала. Однако, пожалев меня, пошла на соседнюю Пароходную улицу к бабке Анне Часкидихе, бабушке моего соученика отличника Сереги Часкидова.

Пошла скрепив сердце. Она, окончившая гимназию, а потом медицинские курсы, считала себя представительницей науки, а неграмотную, хоть и мудрую Часкидиху, свою вечную соперницу, знахаркой. Но в признанный на Зые авторитет бабки Анны в лечении вся-

кой живности — коров, овец и прочего — она, видно, тоже верила.

И вот, тряся большим, с пуповой грыжей, животом, Часкидиха прибежала к нам, взяла из моих рук присмиревшую голубку, ощупала ее, зачем-то подула ей в клюв и заключила:

— Тоскует.— И возвысила голос: — Душа воина нашего Андрея, твоего, подружка, зятя и евонного родителя,— она показала на меня,— смертно тоскует. Горя великого ждет!.. Ведь это он, Андрюха, птицу эту ангельскую принес?.. Не отвечай — знаю. Я все знаю.

— Ничего ты не знаешь! — закричал я. Хоть пронзила меня вдруг невольная дрожь, хоть от отца уже давно не было писем, но в «смертную тоску души» моего веселого бати я не верил — не такой уж дурак.

Я выхватил голубку из чужих рук и унес ее в свою комнату, слыша, как Часкидиха сказала бабушке, такой рядом с ней худенькой и робкой:

— Баской у вас парнишка растет, как и наш Серега... Вот ведь война, голодуха, а не портятся ребята. Дюжат...

И тогда я рассказал о голубке Клавдии Ивановне, сестре директора школы и нашей учительнице биологии, одноногой биологичке. Действительно, странно, но что сделаешь,— почти все учителя наши в то, военное, время были безрукие, безногие, старые, чахоточные. Впрочем, почему странно? Здоровая часть учительства ушла воевать или учить воевать — остались больные и калеки. Однако они были неполноценны только физически, но не духовно. Я уже говорил, в нашей окраинной школе собрались редкие учителя: если большинство из нас стало людьми — в первую голову это их заслуга. И сейчас из своего живого далека я низко кланяюсь им, умершим...

Обезножевшая после костного туберкулеза Клавдия Ивановна — у ней, у единственной из учителей, не было клички — знала о живом, о бегающем, ползающем, летающем и растущем — все. И великие знания ее не были умозрительны. Веснами мы шумной оравой бродили во главе с нею. Она шла без палки, по-солдатски прямо и неутомимо выкидывая вперед свою прямоугольную протезную ногу — протезы тогда еще делали из дерева, кое-как. Мы шастали по нашим окраинным улицам, пустырям и железнодорожным насыпям,

рвали листья мать-и-мачехи, подорожника, цветы белены, а осенью уходили в ближние леса, собирали рябину, калину, смородину, но больше — продолговатые лопающиеся в пальцах красные ягоды шиповника, витамин «С». Собирали и сушили. Не для гербариев. Мы сдавали нашу добычу в госпитали или аптеки — тоже, как могли, работали для фронта...

— Принеси свою пленницу в класс,— сказала, выслушав меня, Клавдия Ивановна.— Посмотрим, что за экземпляр.

Как заправский голубятник, «грязная пазуха», я посадил свою голубку под пиджак, притащил на следующий урок ботаники. И тут меня подстерегла горькая неожиданность.

— Обычный дикий голубь,— сказала Клавдия Ивановна, осторожно гладя птицу по истончившейся шее.— Обитает в средней полосе России. Поэтому худела и тосковала, что дикая, на волю надо.

— А кольцо? — не соглашался я.

— Что кольцо? Видимо, окольцевали для учета миграции. То есть расселения. 1941 — год кольцевания. «КВ» обозначает город. Наверное, Киров.

— А может, Киев? — спросил кто-то.

— Может, Киев. Война ее загнала к нам.

— Если б вы ее в самом начале видели! — не сдавался я.— Какая красивая, сильная! Таких дикарей не бывает.

И вдруг Клавдия Ивановна засомневалась тоже:

— Но, возможно, и не дикая... Порода, может, такая... В военных почтовых голубях я не понимаю. Да и вообще почтовые голуби — великая тайна природы.

— Ясно, военная! — не слушая рассуждений Клавдии Ивановны, восторжествовал я. А за мной — и весь класс.

Конечно, это боевой почтарь. И конечно, из Киева! Я всегда, сколько себя помню, больше всех городов любил Киев. Потому, что он всех древнее, потому, что от него пошла моя Родина, вся моя Русь... И опять встал передо мной тот далекий осенний день сорок первого, когда яркое солнце уже не грело, а побитые инеем листья остро и больно хрустели под ногами. Я шел тогда в больницу, где лежал с воспалением легких мой братик Вовка, еще дошкольник, нес ему кулек моркови и баночку малинового бабушкиного варенья,

куда, не утерпев, успел уже несколько раз слазить пальцем и на ходу облизать его. Я торопился: больница была далеко, в центре Моего Города, а мне надо еще успеть в школу. Но на Моральском мосту я встал как вкопанный. Меня пригвоздил голос радио — его четырехугольный усилитель висел на телеграфном столбе.

— Вчера после ожесточенных боев наши войска оставили город Киев,— сказал скорбный голос и стал называть еще какие-то города и потери немцев. Но я уже не слышал его. Что-то порвалось во мне... Я уезжал в пионерлагерь на второй день после начала войны и твердо верил, как все, что, когда вернусь домой, наша Красная непобедимая Армия будет в Варшаве, а может быть, если немецкие рабочие поднимут восстание (они восстанут — это азбука!), и — в Берлине... Когда я вернулся, когда пошел в школу, наши вели тяжелые оборонительные бои: «временно оставляли» не очень знакомые мне города... И вот — Киев...

Я стоял и плакал. Я ревел от непонятного, надвигающегося на нас и неостановимого ужаса, я оплакивал прекрасный город, созданный моим необузданным воображением, родину моего любимого Руслана и других русских богатырей...

— Ты что плачешь, мальчик? — надо мной склонилась тетка с молочными бидонами, видно, спешащая на базар.— Заблудился, дом потерял?

— Нет, в уборную хочу,— сказал я, глотая слезы.— Поняла, дура старая? — и бросился наутек.

— От горшка два вершка, а уже фулиганит!— заверещала мне вслед пораженная тетка...

Вот какое было когда-то печальное утро, а сейчас уже четыре месяца, как Киев снова стал нашим, мои русские богатыри, Красная Армия, победно шли вперед. И ясно, что почтарь этот военный и был послан назад на свою родину, ведь почтовые голуби по нескольку лет не забывают дороги домой.

— Ура! — заблажил я.

Клавдия Ивановна рукой остановила мой крик.

— Почтовый это голубь или дикий — все равно его надо выпустить. Как можно скорее. «Мы вольные птицы. Пора, брат, пора!» — с улыбкой заключила она.

У нас все учителя цитировали Пушкина. Видимо,

так были воспитаны или такова была Витина, директорская, установка.

Клавдия Ивановна передала мне голубку, а сама пошла к двери:

— Вы тут посидите немного одни. У меня в девятом классе контрольную пишут, я загляну к ним и вернусь. Повторите по учебнику «Размножение споровых».

В ту пору, с нехваткой и болезнями учителей, такие параллельные, в двух классах, уроки были часты, и сидеть без учителя (то есть беситься втихую) нам было не привыкать.

— Никто не пикнет,— с полной серьезностью заверил наш «раненый» Ванька Хрубилов.— Читать станем.

Но не успел стук протеза Клавдии Ивановны смолкнуть на лестнице — весь класс вскочил и облепил меня с моей голубкой.

— Дай подержать! — И я дал. И птица двинулась по рукам — осторожным и ласковым. А когда вернулась в мои, от своей печки встал Витяй Кукушкин и тоже подошел ко мне — до этого он сидел, равнодушный и далекий от всего. А тут улыбнулся вдруг и тоже протянул руку:

— Дай-ка я гляну. Мы с Митяем Кукишем до войны всяких держали.

Его улыбка уже никого не могла обмануть, мы знали, что скрывается за ней, но мне хотелось быть в этот день бесконечно добрым, и я отдал, дурак доверчивый, голубя.

Витька ловко принял птицу, видно, и верно имел с ними дело, приблизил к глазам.

— Рядовая лесная тварь! — процедил он и, прихватив тонкую птичью шею пальцами, указательным и средним, теми же, между которыми обычно держал свою подлую «писку», вдруг коротким взмахом тряхнул птицу вниз.

И случилось страшное. Слабая шея не выдержала тяжести тела, и оно, оставив в Витькиных пальцах голову, оторвалось и, брызжа кровью из порванного горла, содрогаясь в конвульсиях, ударилось в пол.

— Вот вам, падлы, ваш почтарь,— сказал Витяй Кукушкин.— Волки́ позорные...

Класс ахнул, потом кто-то крикнул:

— Фашист!

Помутневшемуся моему сознанию померещилось вдруг, что голос тот был голосом воскресшего Мишки Беляева.

Но Витяй не ринулся на крик — он, меняясь в лице, глядел на меня. А я видел только это лицо. Это ненавистное лицо и больше ничего вокруг...

Екатерина Захаровна, Жаба, наша учительница литературы, рассказывая о детстве Пушкина, со злой иронией поведала нам об его отце, чувствительном и жестоком, который мог оплакивать смерть голубки и преспокойно в то же время пороть дворовых людей. Тогда мы вместе с ней возмущались этой дикой сентиментальностью крепостника Сергея Львовича. А сейчас...

— Да лесная она, сучка! — выкрикнул, отступая от меня, Витька, от направленной прямо в его перекосившееся, бледное лицо моей ручки с восемьдесят шестым пером на конце.— Гад буду! — взвыл он.

Но в последний момент я все-таки отвел ручку и ударил кулаком, а то бы пропорол ему рожу насквозь, на всю жизнь оставил бы подпись. Ударил кулаком... Пиля с отцом дрова, таская навоз, возя воду, я все-таки накачал за военные годы немного силенки — его тонкий и, оказывается, слабый нос хлюпнул под моими козонками, и его кровь смешалась с птичьей... Почему он не выхватил бритву? От неожиданности? От страха перед гневом всего класса? Тогда я не сообразил. А сейчас, когда написал, понял: у него правая-то рука занята была. Ее указательным и средним пальцами Витяй конвульсивно сжимал голову голубки — уже мертвую, с бледной пленкой, затянувшей бусинки глаз... Хоть по правилам лежачего не бьют, но честные правила были не для Витяя Кукушкина,— я добивал его на полу. За голубку. За Мишку Беляева. За Киев. За отца... За его замолчавшую для нас душу...

— Что за шум, а драки нет?

Я вдруг почувствовал, что отрываюсь от распластанного тела Витяя и поднимаюсь в воздух — меня держала чья-то железная рука. Скосив взгляд, я увидел зеленые брезентовые сапоги, галифе и офицерский без погон френч. Эта рука могла быть только одной — единственной рукой Юрки-Палки, военрука нашего Юрия Павловича. Он, как всегда, возник на месте драки.

— А,— сказал удивленно.— Это Пылаев? Мне гово-

рили, что ты сорви-голова. Но я не верил, больно уж тихим ты ходил последнее время. А сейчас придется тебя исключать. Собирай портфель и катись на свою Зеленую улицу...

К исключениям мне было не привыкать. Последний раз меня исключал из школы сам Витя, Виктор Иванович, директор. Уже в пятом классе, перед приходом Кукушкина. Тогда я, игрок азартный, но не по летам опытный и хитрый (все-таки двухгодичные курсы родной Зыи!), обыграл в орлянку всю школу, девятиклассников включительно, обыграл бы и десятиклассников, но они к тому времени уже ушли в армию. Я вытащил учебники, отдал их Мишке Беляеву, а свой боевой портфель набил серебром по самую застежку. Тут и застукал меня наш директор Витя и, экспроприировав экспроприатора, вернул мне пустой портфель, а самого выдворил из школы — опять «раз и навсегда». Но, отсидевшись пару дней в задней избушке у соседей, я втихаря пробрался в класс и благополучно ходил под будто невидящим меня взглядом Вити, выигранные мной деньги он раздавать не стал, да и кому раздашь — кто сознается? Они пошли, говорят, на общественные нужды — на покупку красных галстуков и значков к ним, красивых таких значков с острыми зубьями зажимов, с пурпурным пионерским костром на желтом фоне: надвигались Октябрьские праздники, а с ними и новый прием в пионеры...

— Да он смеется! — опять удивился Юрка-Палка, отпуская мой воротничок.— Его исключают, а он смеется.

Ага, я смеялся. Я глядел на ползающего в слезах и соплях Витьку Кукушкина и смеялся. Я стоял на ногах и чувствовал себя освободителем. А что может быть выше, святее и прекраснее этого чувства?!

Нет ничего естественней и благородней, чем свержение злого владычества.

Я говорю не только о жизни взрослых. У детей эта борьба выражена еще отчетливее. Еще непримиримее. Потому что они ближе к истокам, и по детской своей, несломанной еще натуре не склонны к компромиссам и долгому подчинению...

Итак, в конце пятого класса к власти у нас пришел демос. То есть народ. Как нам казалось — отныне и навеки.



2.

Но мы просто не знали тогда диалектики. В седьмом классе от нашей демократии не осталось и следа — она пала. Рухнула под силой оружия — восьмизарядного пистолета системы «парабеллум». Что в переводе с латинского значит — «готовься к войне!».

Нет, не азартные игры, не книги, не гонки на коньках и лыжах, нет,— главной моей страстью все детство было оружие. И конечно, не подлые «писки» щипачей, не бандитские медные кастеты,— я трепетно, до замирания души любил оружие боевое.

Или сон, или первая, самая первая память — маленький черный браунинг, лежащий перед отцом на столе под абажуром. А рядом грудкой крохотные, почти как кедровые орешки, пули к нему. Отец что-то делает, склонившись к свету, наверное, заряжает обойму, потому что раздаются щелчки, а увидев меня, кричит обо мне как о чужом, кричит гневно, что с ним,

с моим тихим батей, случалось редко, почти никогда: «Почему здесь ребенок? Уберите его!» Прибежавшая бабушка уносит меня, я вырываюсь, колочу руками и ногами в ее худую грудь и засыпаю в слезах, после долгого рева... Дали оружие отцу как чоновцу или заводскому комсомольцу — не знаю, но память о таинственном браунинге жгла меня долго, и несколько лет спустя, еще при отце, я обыскал весь дом, все шкафы, сундуки, все ящики, все щели в нижних и верхних сенках, перетряхнул, наконец, родительскую постель, но, видно, это на самом деле был сон или у отца пистолет забрали. А может, взрослые в тот единственный раз оказались хитрее меня и так тщательно прятали заветное личное оружие, что даже я, всемирный следопыт, не мог найти его?

Я чуть не плакал от досады и снова брался за отточенный до бритвенной остроты кухонный нож: за неимением железного делать оружие деревянное. Я достиг в этом, несмотря на младые годы, значительного искусства. Из моих вечно изрезанных, перевязанных, в занозах пальцев выходили четырехгранные, расширяющиеся к концу мечи-кладенцы, отчаянно кривые сабли, а также наганы: бульдоги, смит-вессоны, кольты, браунинги, тяжелые, с четырехугольным магазином под длинным стволом маузеры.

Даже автоматы я делал: немецкие с плоским магазином и наши ППШ, с толстым диском.

Фабричными игрушками я пренебрегал, да и не было их почти: в войну игрушечного оружия не делали... В общем, извел я на гонку вооружений все доски, которые еще до войны приготовил отец для новой кладовки: старая наша совсем завалилась, не успевали подпирать...

Летом было хорошо — заберешься в угол двора и строгай на здоровье. Зимой хуже, приходилось работать на кухне и выдерживать с бабушкой целую битву.

— Аника-воин, дедушка родимый!— сердилась она, намекая на мою родословную, на непутевого и геройского мужа, деда моего Ивана, сгинувшего еще на гражданской войне.— Я по всему дому стараюсь, а он мне опять всю кухню замусорил. У коровы навоз не убран, а он, детинушка, вместо того ружья строгает. Война уж кончается, а он пистолеты делает, новую войну накликает. (Бабушка хоть и кончила когда-то гим-

назию, но зыйские нравы и суеверия за долгие годы тоже впитались в нее.) Ну, не дурачок ли? Нет, пожгу я твои автоматы, вот увидишь!

— Революция в опасности! Немцы в городе!— хватая свой безотказный маузер, кричал я. На этот клич скатывался сверху, со второго этажа, где он воевал с японцами, мой малолетний братец Вовка со своей заветной саблей, и мы сомкнутыми рядами вытесняли нашу маленькую бабушку из кухни... Потом, правда, когда одолевал голод и мои изрезанные и изводженные в грязи пальцы начинали болеть, нарывая, приходилось идти к ней — просить мира. И подавая нам скудный обед и прикладывая столетник к моим рукам, бабушка пускала старческую слезу, а я, тоже растрогавшись, обещал клятвенно доски больше не портить, а навоз из хлева в воскресенье весь вывезти.

Но на другой день все начиналось сначала.

И все-таки это было оружие ненастоящее, воображаемое.

За настоящее я бы мог отдать черту душу. Да что душу — честь!

И — отдал.

Сперва — невольно, пав жертвой вероломства.

Потом при ясном уме и твердой памяти — своей охотой.

Но всегда — и в первый, и во второй раз — преклонение перед оружием приводило меня к предательству.

В конце пятого класса вместо умершего Мишки Беляева появился у меня новый школьный друг Лешка Шакалов, по кличке, само собой, Шакал. В детстве я почему-то выбирал больше друзей из ребят, как говорится, богом обиженных, слабых или умом или телом, кем все пренебрегали, смеялись над кем. И в благодарность на мою в общем-то снисходительную дружбу они отвечали настоящей любовью и привязанностью. Впрочем, почему в детстве? Я и сейчас не держу в друзьях сильных мира сего, мне интересно и легко только с простыми и слабыми. Может, потому, что в душе я и сам такой?..

Третьегодник Лешка Шакалов отвечал всем признакам классного придурка. Большой, красный, простуженный нос с вечной зеленой соплей, длинные, тоже красные, сильные, но неумелые руки и голубые про-

зрачные глаза с никогда не гаснущим голодным блеском. Кроме еды душа Шакала не реагировала больше ни на что — ни на насмешки пацанов, ни на ругань учителей... Я сперва скрепя сердце отдал ему свой завтрак — все ту же серенькую булочку и кулечек коричневого сахара,— который он уничтожил в два глотка. Потом принес из дома несколько вареных картошек. Чистить их на уроке было нельзя — учительница заметит, но терпеть до перемены Шакал тоже не мог, и он затолкал их в свой огромный, будто резиновый, рот прямо в кожуре.

— Так сытнее,— сказал...

Мы подружились. Я ему рассказывал про кино, про книжки, он мне — о своем отце, «обалдуе», который не то портняжил, не то сапожничал и относился к сыну, к Лешке то есть, как тургеневский Ермолай к своей собаке: дома держал, а кормить не кормил в надежде, что тот сам прокормится... Мать их умерла еще до войны, старший брат воевал, и жили они вдвоем с отцом в огромном, двухэтажном, но страшно ветхом доме. Сейчас бы его назвали аварийным.

Успешно свалив экзамены (в пятом классе мы, кажется, сдавали их всего четыре — русский и арифметика, письменно и устно), на которых я самым бессовестным образом подсказывал ему, сюда, в свой старый дом, привел меня мой друг Шакал. Привел в гости, но древний домина на наши шаги заскрипел, застонал всеми своими голыми стенами и щелястыми половицами, мне жутко стало, и я предложил:

— Пойдем лучше к нам. Малость работнем, хлев вычистим — нас моя бабушка обедом накормит.

— Айда!— обрадовался Шакал.— Работы я не боюсь. Чертомелить люблю.

Хлев мы выскребли, и бабушка потчевала нас вареной картошкой с молоком и картофельными же лепешками с первым, весенним щавелем. Потом я предложил опьяневшему от еды Шакалу двинуть завтра в читалку, к 11 часам, прямо к открытию.

— Там, знаешь, какие книжки есть! Ты и во сне не видел.

— А я во сне, окромя шамовки, ничего не вижу,— сказал Ленька, но идти согласился. И мы пошагали с утра в читальный зал, в самый центр города, в центральную детскую библиотеку. Но у ее высоких сводча-

тых дверей, которые вели когда-то, по словам бабушки, в дворянское собрание, куда она ходила юной медсестрой на балы под военный оркестр, Шакал затормозил.

— Нету, Дениска,— покраснев не только носом, но и всем своим худым, будто обсосанным, ликом, сказал он.— Чо я, дурной, чо ли, когда не заставляют, за книжками сидеть? Ты иди, раз охота, а я нету — добегу лучше до рынка, до Качковатки, может, пожрать нашакалю.— Он заискивающе хихикнул, и я вдруг понял, что Шакал просто стыдится, стесняется своего вечно шмыгающего носа, красных неловких рук, полунищенской одежонки своей. Я глядел на него и чувствовал, что кроме жалости во мне просыпается нежность, нежность к этому большому, нелепому, голодному и чистому переростку.

— Ни шиша ты не нашакалишь,— сказал я.— Возьмем лучше арабские сказки, там про восточные яства здорово написано! А потом что-нибудь придумаем. Давай твой ученический билет. Пошли!

Я рванул высокую дверь, и мы поднялись парадной лестницей, взошли по вытоптанным посередке еще, наверное, дворянами мраморным ступеням на третий этаж. Однако у открытых дверей читального зала, сквозь которые были видны бесконечные, до потолка книжные стеллажи, пустые еще столы и огромные, тоже до потолка, фикусы и пальмы по углам — торжественный и светлый, залитый ярким солнцем храм!— Ленька шарахнулся назад.

— Я бортанулся!— крикнул он, скатываясь с лестницы.— Как ни то забегай...

Шакал исчез, а у меня, вытесняя жалость к нему, созревал дерзкий план. У меня же в руках остался Ленькин ученический! Конечно, городская читалка была единственным и действительным храмом моего детства. Конечно, мы приходили сюда благоговея. Но читать тут, истуканами сидя на высоких стульях, под отвлекающий шум центра города, под усыпляющими и слепящими лучами солнца, читать среди людей было крайне неловко и тяжко. И еще — только разохотишься, войдешь во вкус, одуреешь, увлекшись, а уже конец: «Дети, сдавайте книги!»

То ли дело дома! На кровати, на полу, у печки. Или во дворе, в тени сарая. Или в огороде, под старой бе-

резой. Валяйся, читай, пари воображением, проигрывай, наконец, прочитанное: вою́й, кричи, пой!

И у меня созрел дерзкий план. Я как раз начал большой роман «Джура». Прочитал первые двадцать страниц из пятисот и — обалдел.

Я понял: это вещь! Посильнее, пожалуй, самого «Гиперболоида»!..

Но чтобы одолеть ее здесь, в зале, потребуется пять полных мучительных дней, и я решил, сейчас решил: «увести» книгу домой, прочитать за сутки, а завтра к вечеру, самое позднее — послезавтра утром притащить ее обратно. Шакала, ясно, за это исключат, но ему-то какая беда: он все равно сюда сроду не придет и знать об этом не узнает. Я шагнул в открытые двери, прошел к столу, за которым сидела, слава богу, сама заведующая — подслеповатая старушонка в пенсне.

— Хочу записаться,— сказал я, протягивая ей Ленькин ученический билет. На только что введенных ученических билетах (еще одна придуманная реформа-новшество) — синей, вдвое сложенной картонке — фотографии не было, просто стояли на одной стороне фамилия и имя, номер школы, класс, домашний адрес, на другой — длинный список «Правил поведения учащихся», который, по-моему, я так до конца и не дочитал. Старушонка взяла Ленькин билет и, низко склонившись к нему своим допотопным пенсне, тщательно переписала все в абонемент.

— Что будете брать, мальчик?— спросила она.

Мальчик! Если бы знала эта старушенция, что за мальчик стоит перед ней, робко потупя глаза! Яго и Полоний, вместе взятые, перед ним были ничто... Я назвал «Джуру» и, для отвода глаз, «Занимательную физику» Перельмана.

— Подожди!— вдруг всполошилась убогая.— Мы же отчество не записали.

— Чье отчество?— опешил я.

— Твое, конечно. Как отца-то зовут? На фронте он у тебя?

— На фронте...— Я впервые поднял глаза — на меня со стены среди других писателей строго глядел носатый мужик с окладистой бородищей.

— А зовут его Афанасием!— почти выкрикнул я, становясь, таким образом, незаконным сыном незаконнорожденного Афанасия Афанасьевича Фета.

— Так и запишем — Леонид Афанасьевич. Хорошее отчество, исчезать стали исконные русские имена... А не много тебе сразу две-то?— спросила старушонка, протягивая мне книги.

— В самый раз, я быстро читаю,— соврал я снова, уставясь в пол, чтобы бабушка не разглядела моего лица. Предосторожность, впрочем, напрасная, сослепу она меня вовсе, поди, не видела. Потом забрал книги и, усевшись за последний, самый ближний к дверям стол, накинулся на «Джуру».

Зал постепенно заполнялся. Приходили бледные мальчишки, на вид страшно умные. Словно из воздуха возникали такие же девочки. Где вы теперь, мои милые товарищи по читальному залу Моего Города? Отчаянные и голодные пожиратели прекрасных книг? Где бы и кем бы вы ни были сейчас, уверен: дни, проведенные вами в том высоком зале, были самыми счастливыми в вашей жизни!.. Вот тут совершались или готовились великие открытия второй половины двадцатого века!..

Зал заполнялся, а я — уродливое исключение из благородной читающей публики — ждал.

И — дождался! Убогую начальницу с ее допотопным пенсне сменила глазастая, востроносая девица, которая так и зыркала, так и зыркала по залу. Что ж, сильного врага и обхитрить почетнее.

Я раскрыл занимательного Перельмана, потом будто случайно столкнул «Джуру» под стол, наклонился, доставая, но выпрямился с пустыми руками: толстая книга, сдавив мне кишки до потери дыхания, надежно покоилась на животе под рубашкой. Потом встал и легкой тенью скользнул в дверь, ссыпался с лестницы, вылетел на улицу.

А на моем месте в читалке, успокаивая бдительный взор девицы-библиотекарши, остался открытый Перельман с его физическими чудесами...

Я проглотил «Джуру» и верно за сутки, но собрался в читалку только на третий день к вечеру, сидя в своем маленьком огороде, среди набиравшего силу репейника и картофельных, мелких еще всходов, я метался по книге, по огромной Средней Азии и Памиру из конца в конец, еще раз переживая необыкновенные приключения горца Джуры, простодушного и великого человека, лучшего в мире стрелка, вставшего на сторону красных, и его верного друга, тоже великой памирской

овчарки Тэкэ. Я вместе с Джурой без промаха стрелял по басмачам, дрался вместе с Тэкэ с одичавшими бродячими псами, вмерзал в фирн, горячий лед, вместе с экспедицией Марко Поло, вместе с его чудно одетыми купцами-генуэзцами и их верблюдами, груженными индийскими драгоценностями... Я жил в другом мире — я был счастлив. Но все кончается, счастье тоже.

Наконец я двинул в читалку — приближался час расплаты. Хотя я его и не боялся, отрепетировав роль благородного товарища этого придурка Шакалова Леонида, который по незнанию утащил книгу домой, а я вот возвращаю, такой сознательный мальчик!

Все-таки этот миг вранья я оттягивал и пошел в центр длинным путем. Через Новый мост.

Но до Нового моста не дошел.

На углу Пролетарской улицы, у дома, где он с матерью-врачихой снимал квартиру, встретил меня эвакуированный восьмиклассник Женя Херсонец. Краса и гордость школы, наш общественный пионервожатый. Придя к нам в класс, он как-то сразу выделил меня из общей, стриженной наголо массы и часто на переменках, обняв за плечи, прогуливался со мной по школьному коридору. Со старшими мне было обычно уныло, неловко, скорей бы отвязался, а с Женей — другое дело! С ним можно было поговорить обо всем. Иногда мы подходили с ним к окну, и Женя печально глядел вдаль, вспоминая, ясно, свой оккупированный Херсон, свою родину, и тихо, будто про себя, пел:

В степи под Херсоном высокие травы,
В степи под Херсоном курган...

Он пел, а мою маленькую, грешную мою душонку захлестывало великой его тоской...

— Ты куда, Дениска-ириска? — спросил он. Я сказал. Истину, понятно, до конца не раскрыв.

— А что сдаешь? — поинтересовался он.

— Вот!

И Женя, первый в школе книгочей, обомлел: Георгий Тушкан! «Джура»! Он присел на завалинку и стал лихорадочно перебирать страницы:

— Я давно за ней гоняюсь, могучая, говорят, вещь! — Он нежно погладил ладонью по серой, со знаками библиотеки приключений обложке, потом поднял на меня просящие глаза: — Дай почитать старому другу.

— Не могу, клянусь! — Я щелкнул ногтем большо-

го пальца по зубам, потом провел им по шее, давая страшную клятву.— Я и так просрочил, меня из библиотеки исключат.

— Жаль,— Женя вернул мне «Джуру». И вдруг, будто что-то вспомнив, ударил себя ладошкой по высокому лбу.— Ты, я знаю, оружие любишь?

— У меня своего полно.

— Да я не про деревяшки говорю — про настоящее! Хочешь, я тебе шашку отдам? Насовсем!

Теперь обомлел я:

— К-какую?

— Казачью, конечно. Мне ее перед смертью один наш конник подарил. Когда мы из Херсона отступали.— Женя посуровел лицом, желваки на его скулах окаменели.— На, сказал, юный друг, отомсти за меня. Руби, сказал, без пощады головы подлым захватчикам!

— А не врешь? — засомневался я.

— Нехорошо не доверять старшим.— И теперь уже Женя щелкнул ногтем об зуб и провел ладонью по шее.— Слово запорожца!

— А скажи,— не унимался я.— У нее на лезвии желобок есть? Для чего он?

— Ясно для чего,— грустно сказал Женя.— Для стока крови... Но я все равно не успею пустить в дело, завет героя не выполню. Война кончается...

— А эфес какой? — задал я последний вопрос.

— Обвитый медной проволокой и раздвоенный на конце. Чтоб рука не соскальзывала в момент удара. Да что мы воду толчем? — Женя пошел к воротам.— Я ж тебе ее показать могу.— И заключил: — Значит, договорились, я тебе шашку насовсем, а ты мне эту книгу на три дня.

— Железно,— сказал я, не испытывая никаких угрызений совести: ведь Леньке Шакалу без разницы, когда его исключат из читалки, днем раньше, днем позже — он все равно об этом никогда не узнает...

Женя ходил долго и вернулся, держа руки за спиной.

— Вот черт косорылый! Крыса тыловая! — выругался он, и я понял, что он костерит своего хозяина, довоенного инвалида, изуродованного в уличной драке. Но Женя ругался при мне в первый раз, и это больше клятв убедило меня в том, что шашка существует. А он наклонился ко мне и зашептал:

— Понимаешь, Дениска-ириска, я шашку в сарае закопал, открыто ее хранить нельзя, в колонию можно загреметь: холодное оружие! А его косорылие надумал дрова колоть. (В глубине двора и верно «раздавался топор дровосека».) Сейчас его не переждешь, это до ночи.— И тут Женя вытащил руки из-за спины:

— Возьми пока их.

В Жениных руках были ножны! Настоящие, обшарпанные в боях и походах ножны, с медными петельками сбоку, с медным кольцом у устья и такими же пластинами на загнутом конце.

— Возьми их. А через три дня, когда придешь за книгой, я вложу в них шашку. И станешь ты уже не Дениска Пылаев, а Денис Давыдов. Слыхал о таком?

Мне уже надоело, злило меня это вечное сравнение с легендарным усачом, но, чтоб не обидеть Женю, я и вида не подал:

— Слыхал. Соратник Кутузова. Тоже партизан. Как Железняк, который погиб под твоим Херсоном...

— Точно.— Женя снова стал печален, опять родину вспомнил.— Бери ножны. Бери и помни мою доброту. Я для друга все отдам!

— Я тебя никогда не забуду,— сказал и я, чтоб утешить его, протянул ему заветную книгу.— На, читай.

Женя с тем же убитым лицом взял ее, и мне стало стыдно: за чужую, библиотечную книгу, данную на время, меня одаривают так по-царски:

— Слушай, Женя, а не жалко тебе расставаться с личным оружием?

— Жаль, конечно,— Женя тряхнул кудрявой головой, отгоняя печаль.— Но я надеюсь еще не такое достать... Вот придет вызов, вернемся мы домой, а в степи под Херсоном знаешь сколько всего валяется. Там страшные бои были. Пистолетом наверняка разживусь.

— Тебе хорошо,— сказал я, с трепетом принимая от него боевые ножны.

— Ты сразу домой беги,— сказал Женя, пожимая мне руку.— А то милиция увидит, станет допытывать, где взял. Ты меня выдашь, и все — пропал я. Не видать мне Херсона...

— Не выдам я! Пусть хоть чо делают! Честное пионерское!

— Верю, верю...

И я полетел домой. А через три дня, отогнав в пасе-

во корову, подрулил к Жениному дому. Открыв калитку, вошел в палисадник и тихо постучал в их, крайнее к воротам, окно. Но мне никто не ответил. Я ударил сильнее. Молчание... Дрожь недоброго предчувствия охватила меня.

Я выскочил из палисадника и ударил в ворота — кулаками, ногами замолотил.

Ворота открыл косорылый, с огромным, через всю щеку шрамом хозяин.

— Ну чо барзишь, чо барзишь?

— Женю позови! Квартиранта!

— Нету у меня никаких фатирантов. Были, да сплыли, еще вчерась утресь вовсе съехали.

— Куда? В Херсон?

— В какой... Хер...сон? В город Свéрдловский. Его мать, херург, на срок сюды, в оспиталь, была завербована, а щас назад в институт вызвали. Вот и убрались в Свердловский.

Но для меня тогда что далекий, опаленный войной Херсон, что близкий тыловой Свердловск были одинаково недосягаемы.

— А он мне, Денису, ничего не наказывал передать? — с последней надеждой взмолился я.— Ты вспомни, дед?

— Никому ничо. Да такой разве чо другим оставит? Он, наоборот, чужое норовит прихватить. Не ты первый приходишь...

Но я уже не слушал старикана, проскочил мимо него и толкнул дверь Жениной боковушки — она была пуста. Лишь валялись на полу обрывки тетрадей за восьмой класс, сплошь испещренные жирными пятерками, да на стене, прямо на обоях, была намалевана чья-то смешная рожа.

Я подошел ближе. Нет! Мой друг меня не забыл, он оставил мне память — на стене был нарисован стриженный наголо лопоухий пацан с вытаращенными глазами и с кривой шашкой в руке. Ведь старший умный товарищ мой был, к прочим его талантам, еще и порядочный художник, оформлял школьную стеннуху,— на обоях был нарисован я, а для подтверждения внизу написаны стихи:

Шашки наголо, Денис,
Предводитель дохлых крыс!

И рука моя, в потной пятерне которой были зажаты боевые ножны, поднялась сама собой, и я, в куски, в лохмотья разбивая древний картон ножен, начал сечь ими направо и налево: по подлому рисунку, по стенам, по полу — по отличным оценкам лучшего ученика, общественного пионервожатого. Я выл, ругался и наотмашь, сполуплеча, с подтягом рубил, рубил до тех пор, пока в моей руке не остался от несчастных ножен один медный ободок.

Я не понимал, что бил тогда самого заклятого, пожизненного своего врага — политического спекулянта. Того, кто изображает великие чувства, не испытывая их, кто щеголяет высокими словами, сам в них не веря. Я этого, ясно, не понимал. Но для праведной ненависти вовсе не обязательно ясное понимание!..

Я бросил бесполезную медяшку в угол, вылез на улицу. И пошел туда, куда не идти не мог. К Леньке Шакалу — каяться.

Но сперва забежал домой, сгреб в охапку весь свой арсенал: автоматы, наганы, сабли, мечи — сгреб все это вдруг опостылевшее мне дерево, приволок в дом и бросил к печке, под ноги бабушке.

— Жги все к лешему! — сказал.

— Давно бы так, мой мальчик! — обрадовалась бабушка.

— У нас ничего поесть нет? — перебил я.

— Да ты, и часу не прошло, завтракал, теперь обеда жди.

— Понятно,— сказал я и, как только бабушка, орудуя ухватом, с головой залезла в печь, схватил почти новый кусок хозяйственного мыла, принесенного с завода мамой и лежащего на умывальнике. Я проводил операцию «Мыло». Еще предстояло загнать его на рынке и на вырученные полторы-две сотни купить Леньке шамовки — хоть как-то замазать вину перед ним, хоть как-то оправдаться...

Ленька сидел во дворе своего дома на провалившейся завалинке и ел «калачики». Это высокое, с резными листьями растение в наше время росло повсюду — название его я забыл, да и не встретить его почти нынче, даже в деревне редко увидишь, а в городе вовсе нет. Так вот — на верхушках его, туго сжатых, будто персты в щепоть, к концу июня созревали плотнень-

кие такие плодики, похожие на лилипутские калачики,— сытные на вкус и неядовитые, брюхо набить можно, я сам их горстями понужал за милую душу... Шакал доедал свои последние: верхушки всех «калачиков» в его дворе были оборваны.

— Ну, Денис, на завалинке прокис! — обрадовался мне Ленька, пуская на подбородок зеленую от «калачика» слюну.— Вовсе зачитался, паря. Я жду, а ты не идешь. Что хоть читал-то?

— Про одного памирского горца и его верную овчарку. Жуткое дело! — Я вытащил из кармана вместе с его ученическим билетом кусок мыла, билет отдал ему, а мыло завернул в репейный лопух.— Сейчас пойдем на рынок, загоним мыло, и ты поешь... Но понимаешь...— Я остановился, собираясь с духом, чтоб начать свое покаянье.— Понимаешь...

— Ничо я не понимаю,— уныло сказал Шакал.— Жрать, как твоя овчарка, хочу. Отец, старый обалдуй, до конца месяца весь паек выкупил, а новых карточек не дают, рано. Хоть ложись да помирай... Да ты присядь, я вот доем, и пойдем... Может, ты «калачиков» желаешь?

— Нет.— Я сел, а мне надо было, дураку, тут же хватать Шакала и тащить на рынок. Но я хотел сперва все рассказать: тяжкий грех и смертельная обида жгли мне душу.

— Понимаешь,— сказал я после долгого молчания, нарушаемого только хрустом последних «калачиков» на Ленькиных челюстях.— Я ту книгу про горца записал не на себя — на другого. А у меня ее украли. Сволочь одна стырила. Понимаешь?

— Ну и чо? Велика беда — книга! — Ленька меня не слушал, не до книг ему было в его положении.

— Ладно,— сказал я, откладывая признание на потом.— Вставай, пошли.

Мы двинули к воротам, но ворота сами открылись навстречу нам — в них стояла божья старушка из читалки. Проворная бабушка! Сама притопала... Ну все, я погиб.

— Здесь проживает Шакалов Леонид? — спросила бабуля, пытаясь разглядеть нас через доисторическое свое пенсне.

— Ну, я это,— нетерпеливо сказал Ленька, злясь, что нас задерживают.— Чо надо?

— «Чо надо»?! — заверещала, передразнивая, старая.— Попался, голубчик! Ворюга! — Ленька обалдел, разинул рот и выпучил глаза. Потом повернулся ко мне: — Она чо, белены объелась?

— Я? Белены? — Старушка вовсе взвилась.— Это ты рехнулся! Самую читаемую книгу украл, гордость библиотеки. Как только твои грязные руки поднялись на такое? Скольких ребят без счастья оставил!

— Каких ребят? Какую книгу?! — отступая от наседавшей старухи, не выдержал, тоже взвыл Ленька.— Ничо я не брал! Ничо не знаю! Ни в какую библиотеку не ходил. Скажи, Дениска!

Теперь уже старушка вытаращила глаза от его наглости. Они были так несчастливо-смешны в своем взаимном непонимании, так уморительно остолбенели с открытыми ртами, что сквозь мою страшную вину из меня вырвался невольный и позорный хохот. Я аж скорчился, чтоб задавить его. Но старуха услышала.

— Смеетесь? — горько сказала она и, покопавшись в своем древнем, облупившемся ридикюле, вытащила злосчастный абонемент, заполненный мной на Шакала.— А это кто? Эх, ты, Шакалов Леонид Афанасьевич! Сын фронтовика...

Ленька растерянно взял абонемент, с трудом разобрал почерк.

— И не я это вовсе,— сказал обрадованно.— И отец у меня не Афанасий, и не на фронте. Дома сидит, старый обалдуй.

— Обманывал, значит? — опять перешла на крик старушка.— Сейчас же верни мне «Джуру». Не то я милицию позову. В колонию тебя упеку, вора несчастного!

И тут Ленька впервые поглядел на меня — в его вечно пронзенных голодной болью глазах появилась еще одна боль: он начал понимать! Но, спасая меня, сзади раздался вдруг скрипучий грозный голос:

— Заткни фонтан, убогая! Шакаловы никогда ворами не были!

На худом крыльце, у открытых дверей, стоял, поддерживая двумя руками грязные подштанники, сивобородый, худой, как скелет, старец. Я впервые видел Ленькиного отца и ахнул: до чего же он древен, в чем душа!

— И мой младший тоже не вор. Заруби это себе на носу!

— Вот как? — старушонка мимо нас прыгнула к крыльцу. — Сам отец Афанасий собственной персоной.

— Какой я Афанасий восемь на семь! — на весь двор со своей высоты заорал Ленькин батя.— Дормидонт я! Дормидонт Шакалов, красный партизан! У меня старший сын на фронте!.. Так что катись отсюда, убогая.

— А ты меня, старую партийку, своим партизанством, гнилой пень, не стращай. У меня самой двое сыновей воюют! Ты вот его,— она махнула в сторону Леньки,— как следует припугни, чтоб общественные книги не крал.

— Книги? Мой Ленька? — И что-то похожее на смех вырвалось со скрипом из беззубого, огромного, как у Леньки, рта.— Его силком за них не усадишь. Как скурил с соседским парнем свой букварь еще в первом классе, так книжек в руки больше не брал. Иди в дом, найди хоть одну!

— А я ведь в шестой класс перешел, батя,— Ленька все так же, с болью и тоской, глядел мне в глаза: «За что ты меня ославил, друг Денис? Что я тебе плохого сделал?»

Он уже все-все понял, и я с подлым страхом ждал, что он скажет это сейчас вслух, разоблачит меня, и о моем воровстве узнают и дома, и в школе, и на улице — и не сносить мне стыда и позора. Наконец он отвернулся от меня и тоже шагнул к крыльцу.

— Ладно вам шуметь-то,— сказал. — Ну, унес я книжку домой, дал почитать одному человеку. Завтра заберу и притащу вам вашу «Шкуру», гад буду.

— Что ты мелешь, последыш! — взвыл старик Шакалов, поднимая руки к небу, но тут же кидая их обратно вниз, чтобы подхватить падающие кальсоны.— Срам на всю фамилию! — крикнул он, исчезая в скрипучем нутре дома.

А старушка расцвела от счастья.

— Так бы сразу и говорил! — радостно затараторила она.— А то — я не я и подпись не моя! Завтра принесешь — из библиотеки мы тебя, конечно, исключим, такое правило. Но никуда сообщать не будем. А не вернешь, я снова приду. И не одна! — погрозила старушка, исчезая в воротах.

Ленька снова сел на завалинку.

— Выходит, нету уже той книги? — спросил он.

— Я же тебе начал говорить, да ты не слушал. — И я рассказал всю эту позорную историю. Как на духу.— Прости меня, царь Леонид.— Но Ленька вряд ли оценил мою похвалу: историю Древней Греции он знал так же, как все другие истории.— Спасибо тебе. А про колонию этот божий одуванчик все врет: за одну книжку туда не посадят!

Ленька молчал, ковырял когтистым пальцем пыль завалинки. Потом сказал глухо:

— Знаешь чо, Денис, топай-ка ты отседа со своим мылом. Не надо мне от тебя ничего... Ох, тошно мне!

И его вдруг начало рвать. Тонкой зеленой струей. Видно, обессиленный голодом желудок не принял грубых «калачиков», или — что хуже — его мозг, душа его не смогли переварить моего подлого предательства, и его рвало от отвращения ко мне.

Наконец он стер пучком травы зеленые пузыри с губ, сказал:

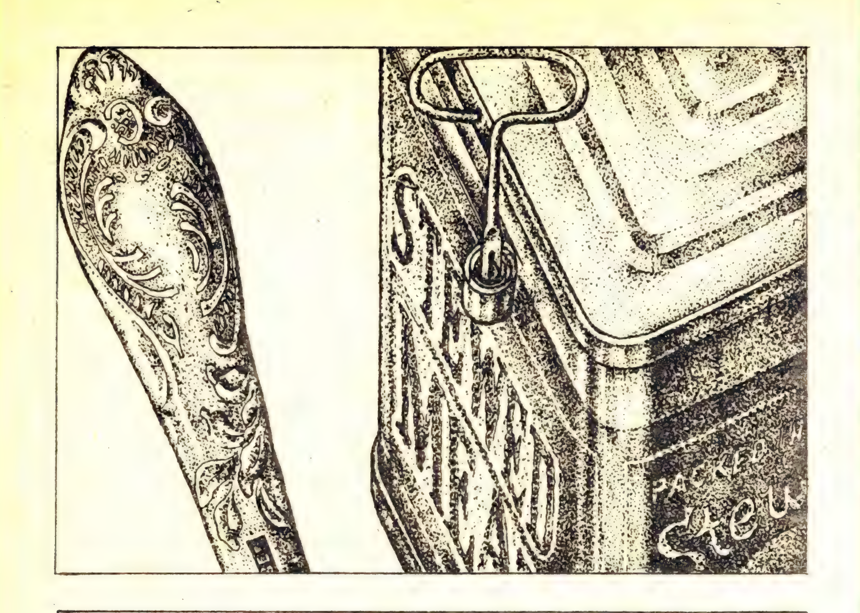
— Жалко калачиков-то, последние... А ты, Денис, уходи, ослободи двор...

Но Ленькиной гордости и стойкости хватило ненадолго. Голод не тетка. Когда через час, путем простого обмена «товар — товар», я махнул на рынке свое мыло на полбулки пеклеванного хлеба и снова явился к нему, он тот хлеб принял. Ленька ел, глотая большими кусками и запивая каждый глоток сырой колодезной водой, а я глядел на него, и не прежняя жалость, но настоящее преклонение переполнило меня.

Вот когда я впервые понял, еще, конечно, тоже не умея сформировать это понимание, как и свою ненависть к лжехерсонцу Жене, понял, что нравственная высота человека вовсе не прямо пропорциональна его школьным отметкам, начитанности, его всезнайству. Бывает и наоборот: чем человек проще, тем он чище, а образованный гад во сто раз хуже гада-дикаря!

...Поздно вечером, уже засыпая, я услышал сквозь всхлипы малолетнего брата Вовки, оплакивающего сожженное оружие, услышал, как разоряется внизу, в кухне, бабушка, ища пропавшее мыло и костеря саму себя:

— Опять я, несчастная вредительница, мыло, видимо, в поганое ведро столкнула. Люди за него работают, а я целый кусок нетронутый на помойку выплеснула. А теперь ищи-свищи... Совсем отживаю, трубка клистирная, прости меня, Андрюшенька!..— Это она просила прощение за украденное мной мыло у нашего отца, у зятя своего, от которого известий не было уже полгода. И я завыл под своим одеялом, не вынеся этих причитаний. Завыл вслед Вовке, папиному любимцу...



3.

В седьмом классе, осенью сорок шестого, к нам вернулись учителя-фронтовики.

Их уцелело немного. Если не считать Юрки-Палки, военрука-инвалида Юрия Павловича,— всего трое.

И первым в этой замечательной троице был, ясно, «немец» — Василий Александрович Широков, наш Вася Широчайший, мир праху его! Кличка эта, как и легенды о нем, пришла к нам из сияющих мирных времен, и он ее был достоин. Как тех легенд...

Через пять лет, когда я уже важным студентом-первокурсником явлюсь на встречу выпускников, Вася Широчайший, как всегда со скрытой насмешливой любовью, щелкнет по моему задранному носу. Так он срезал меня все школьные годы — одной фразой. Больше всего из любимого Пушкина. А теперь — из Шопенгауэра. Эту фразу острыми готическими буквами, почти всегда без раздумий, он напишет в моем блокнотике: все тогда лезли к нему за автографами-напутствиями,

пролез и я — в первый и последний раз. То изречение состояло почти из одного дерущего язык и сознание слова «дер». Хотя я знал, что, кроме артикля, оно обозначает еще определительный союз «который», перевести фразу — к вящему посрамлению своего звания студента-словесника — я не смог. И только потом вместе с нашей высокомудрой университетской «немкой» мы расшифровали ее смысл. Вот он:

«Тот, который считает дураками тех, которые считают буквы,— прав!» До этого я следовал данной истине интуитивно — теперь, вооруженный словесным выражением истины (мое презрение к буквоедству и к буквоедам невыносимо осложняло мою жизнь!), уже сознательно и твердо исповедую ее.

А до седьмого класса мы немецкий и за предмет не считали. Тем более что страна наша воевала с теми Гансами и Фрицами, что nach Osten marschiren, и Аннами-Мартами, которые faren nach Anapa. И они маршировали по площадям наших городов, ехали купаться, чужие белокурые стервочки, в захваченную Анапу, а мы, хозяева, доходили и пухли с голоду на холодном Урале, изводя нашу бедную учителку дойча своим совершенным его незнанием и нежеланием знать.

Широчайший же Вася уже первым своим приходом в класс поверг нас в восторг и удивление.

— Мороз и солнце, день чудесный! — продекламировал он, глядя в окно, где под ярким солнцем действительно сиял инеем первый сентябрьский утренник. Потом повернулся к нам, разинувшим рты, и легонько потрепал по лохматой голове моего соседа, все того же Леньку Шакала, с тяжкими муками перелезшего за мной в седьмой класс и сейчас склонившегося к парте в голодной истоме.— Еще ты дремлешь, друг прелестный?..

Шакал вдрогнул и поднял на учителя свои перепуганные прозрачные глаза — класс грохнул. Ну а прославленные галерочники Борька Петух, мой уличный друг, и Ванька Хрубило, бывший кукушкинский «шестерка», а ныне свободный гражданин нашей классной республики,— те вообще, хохоча, вываливались из своей парты. Но Широчайший словно не увидел их.

— Читайте величайшего Александра Сергеевича! — провозгласил он.— Это самый грамотный, самый чистый, это канонический русский язык!

А мы смеялись, и смех тот был рожден не только незатейливой шуткой (Васины шутки вообще в большинстве были просты, доступны массам, хотя у него имелись и тонкие, мудрые — для избранных), наш смех был рожден самим сногсшибательным видом нового учителя.

За войну, понятно, мы нагляделись на разных доходяг. Но это был доход из доходов: длиннющая худощепина, облачившая костлявый остов свой в солдатскую БУ (бывшую в употреблении) форму из ХБ (хлопчатки бумажной). Истертые галифе острыми мешками спадали с колен на скоробившиеся кирзачи, а гимнастерка, перетянутая брезентовым ремнем со съехавшей набок пряжкой, давно уж потеряла свой исконный цвет хаки, а приобрела какую-то помойно-поносную окраску. Но самым смешным было его лицо: бледные губы не могли скрыть больших, изъеденных чернотой зубов, которые, когда он говорил, выпирали наружу; большая голова была лыса до затылка, зато на крупном носу, на самой пористой его вершине, кустились длинные черные волосики,— чучело, да и только!

Вот таким предстал перед нами знаменитый Вася Широчайший. И ходил таким весь учебный год, только зимой, в стужу, сменил сапоги на пимы-баржи, серые, грубой солдатской катки... Но его внешность уже никого не смешила, и хотя дешевой добротой он нас не приваживал, двойки ставил без пощады, мы скоро все были без ума от его пронзительной иронии, и верно, широчайших познаний, от его огромных — из-за толстых стекол — глаз, спокойных и умных, для которых все внешнее — в том числе и собственный вид — не имело значения: для них был важен внутренний смысл вещей и явлений.

Но больше всего околдовал нас его голос.

Я и сейчас, через много-много лет, только смежу глаза, слышу его голос, открывающий мне всемирное родство человеческих душ, и вижу высокие горы, где светятся сквозь ночь скудным светом окошки пастушеских хижин:

Auf die Berge will ich steigen,
Wo die frommen Hütten stehen...

Или мерещатся мне под звучание того глубокого, густого голоса — голоса прирожденного учителя — ве

черний, в тумане Рейн и черная, таинственная скала Лорелей, скала несчастной любви:

> Ich weis nicht, was soll es bedeuten,
> Das ich so traurig bin...

Странная музыка этих стихов, таких далеких и таких близких, эти «кроткие хижины» (frommen Hütten), эта необъяснимость внезапной человеческой печали (wos soll es bedeuten),— все это заставляло трепетать наши заскорузлые сердца, будило забитое воображение, рождало — в ответ — поэтические звуки. Уже свои:

> Спустилась ночь. В космические сферы
> Уходит солнце, искорки роняя.
> Меня ж уводят грустные химеры,
> И вижу я огни неведомого края...

«Так он писал, темно и вяло»,— по-пушкински пошутил бы Василий Александрович, попадись ему на глаза мои тогдашние сочинения. А может, и не пошутил бы: под внешней иронией у него скрывалась, я уже говорил, пугающая серьезность.

Серьезность учителя наших дум и нашего разума.

А учителем нашего тела стал другой демобилизованный герой — физик Яков Иосифович Пазухин. Яша-Пазуха. Другие имена и клички я чуть меняю, его — нет, знаю, что не прочтет он это: он, красавец и щеголь, никогда не был большим охотником до чтения, интеллектом не блистал, в противоположность Широкову. Косноязычно чокая, он барабанил свой предмет, не выходя из программы. Но обладал другим драгоценным качеством, был, как называл его Широчайший, unsere Sportler, наш спортсмен, неустрашимый боец и гениальный гладиатор мяча.

Физкультуры как предмета в войну не существовало — ее заменили военным делом. Загодя готовили защитников отечества. И мы или в сотый раз разбирали древнюю, образца девяносто первого дробь тридцатого года, с просверленным патронником винтовку, или лихо маршировали с новенькими тяжеленными деревянными, но фабричного производства мушкетами на плечах, пугая обывателей истошной песней про соловья, соловья-пташечку, который жалобно поет. Но иногда в погожие дни военрук Юрка-Палка приводил нас на полянку за школой, мы составляли наши самопалы, а

Юрий Павлович кидал нам на растерзание старый футбольный мяч. И сам носился в общей куче.

Но он все-таки был дилетант, к тому же калека.

Яша-Пазуха достиг в спорте почти профессиональных высот: до войны играл форвардом в знаменитом «КИМе» (Коммунистический интернационал молодежи), команде из нашего города, которая не только била земляков и заезжих москвичей, но и бросила вызов самим баскам, приезжавшим тогда в Москву, но те отказались, сославшись на дальность расстояния. Однако старожилы-болельщики уверяли, сам слышал, что «волшебники футбола» просто испугались непобедимых кимовцев...

В первый сентябрьский день, когда Юрка-Палка привел нас на зеленую поляну и затеял игру, из школы выскочил Яша-Пазуха, закатал до колен модные брюки клеш из английского бостона, обнажив устрашающе шароподобные икры, и ринулся в бой, по счастью, за команду, где играл я. И мы разнесли командешку Юрки-Палки в пух и прах, как до нас московские динамовцы команду Уэльса.

Яша-Пазуха водился, поддевая мяч носком и пяткой, делал невиданные финты и ложные движения корпусом, таскал мяч на коленках, на груди, жонглировал головой, и главное — бил. О, как он бил! Бил правой и левой, бил с остановки и с лета, бил так, что голкипер противника бесстрашный Ванька Хрубило уже при его замахе убегал из ворот. «Мне жить еще охота»,— оправдывался он перед расстроенным Юркой-Палкой.

«Избиение младенцев в Иудее» прервала наша гардеробщица и сторожиха Ульяна Никифоровна: выйдя на крыльцо, она загремела в медное коровье ботало, извещая начало следующего урока. Яша-Пазуха, провожаемый всеобщим восхищением, кинулся в школу, но его остановил сам Витя,— длинная сутулая фигура его давно торчала на краю поля. Уставший, я приземлился рядом и слышал их разговор.

— Вы сначала приведите себя в порядок,— строго сказал Витя. Он, наш директор, как и его сестра Клавдия Ивановна, одноногая биологичка, не был отмечен насмешливым прозвищем, был просто Витя. Как, скажем, были просто боги — Ярило, Ра, Зевс.

— Что верно, то верно,— смутился Яша-Пазуха, послушно раскатал брюки, посадил на место, под могу-

чий, еще не успокоившийся кадык, яркий галстук.— Виноват, исправлюсь.

— Не надо исправляться,— Витя привычно-сдержанно покашлял в зажатый в кулаке платок.— Детям пора переходить на мирные игры. Организуйте футбольную секцию. В здоровом теле — здоровый дух.

— Чо верно, то верно,— сказал Яша-Пазуха и вдруг возразил самому Вите.— Футбол не буду. Он для меня плюсквантпрефект.

— Не квант, а квам,— Громовержец начал сердиться.— Не путайте физику с немецким языком. Говорите по-русски. Вы не Широков.

— Чо верно, то верно,— засмеялся Яша.— Куда уж нам с зыйским рылом в иностранный ряд!.. А вот волетболом,— сказал,— я бы с нашими дуроломами занялся.

— Во-лей-болом! — снова поправил его Витя.— Но это же игра для дачников. Я сам когда-то поигрывал.

— Поигрывать одно — играть другое! — взвился Яша.— Волетбол, он лучше всего учит управлять телом в пространстве. Реакцию, чо верно, развивает, сигнальную систему. А знаете, сколь настоящий волейболист в весе за игру теряет? Как марафонец почти што!

Теперь уж смутился Громовержец.

— Ну-ну,— пробормотал он и, покашливая в платок, журавлиными шагами удалился в сторону школы.

Туда поплелись и мы.

Через три года в весеннем блицтурнире на первенство города наша никому не известная команда из окраинной школы под неистовые вопли удивленных болельщиков повалила «металлургов» — все лбы под потолок! — и встретилась в финале с самим «Дзержинцем» — знаменитой командой машиностроительного завода. «Дзержинцу», правда, мы проиграли, просто пороху в нас, еще не окрепших после голодного военного детства, на пять партий не хватило, хоть наш капитан и главный забойщик Яша-Пазуха творил чудеса. Он и в защите был неплох, в те доисторические времена, когда прием «на манжеты» считался двойным ударом, безжалостно засуживался и принимать все мячи, даже «колы», можно было только на пальцы. Яша отчаянно и точно ложился под удары. Но особенно он был страшен в нападении. И на подаче. Он тушил и подавал (из-за спины, дрейфом) по-своему, не ладонью, а сжа-

тым кулаком, и пробитые им мячи летели с сокрушительной силой.

Но один, известно, в поле не воин, мы все-таки проиграли, и наш фронтовик, грозный Яша-Пазуха, в яростном бессилии плакал на виду у всех. Плакал человек, принесший нам и тогда, в школе, и потом, на вузовских ристалищах, столько счастливых минут — в ярко освещенных, дико ревущих залах, у туго натянутых сеток!..

А сердца наши разбудил и преподал им первые уроки третий фронтовик. Вернее, фронтовичка. Марина Обрезкова. Марина свет Матвеевна. Тоже, как Витя, без клички. Потому что тоже относилась к сонму богов. Вернее — богинь...

Девичьего общества уже третий год мы были лишены решением свыше, в учителях у нас ходили одни старухи, и появление двадцатилетней богини, туго затянутой в хромовые сапожки и военную форму, которая словно нарочно придумана и скроена так, чтобы ни от кого не скрыть то, что надо,— ее появление стало для нас ударом молнии. Сексуальной революцией в масштабах школы. Революцией, взорвавшей и нашу ученическую реальность, и наши праведные до того сны...

И самое тяжкое, самое волнующее — и для нас, и для нее — было то, что она отлично видела, понимала, что она делает с нами, старалась быть строгой, но не выдерживала: ее девичье смятение, ее женская тоска и страсть то и дело прорывались — в улыбке, во взгляде, в движениях, в голосе даже, и шло ли это от долгой привычки находиться среди изголодавшихся мужиков, или от природного темперамента, или от того и другого вместе — не знаю, но вокруг нее всегда пульсировало мощное магнитное поле... Она явилась к нам сперва пионервожатой, сменив на этом посту общественника Женю Херсонца, а зимой, после смерти Таси-Маковки, повела в нашем классе историю СССР. Стала Мариной Матвеевной. Но с пионерами продолжала возиться, красного галстука не сняла. И он, защелкнутый на вороте гимнастерки вокруг нежной шеи значком-зажимом с пылающим пионерским костром, ложился своими крыльями на ее высокую грудь, где серебром блестели две медали «За боевые заслуги».

— Худенькие у нашей героини медальки-то,— сказал мой новый сосед по парте, глядя туда, куда мы, ме-

люзга, и взглянуть-то боялись — на круглые, обнаженные короткой юбкой, при любой погоде в тонком трофейном фильдеперсе ее колени.— Знаешь, как их настоящие-то фронтовики прозвали?

— Кого их? — не понял я.

— Кого, кого... Медали. Забезо. За-бе-зо-бразия! — сказал он по слогам и захохотал: — Все равно — война!

— За какие безобразия? — снова не понял я.

— За какие. В постели, например... Ну — дошло, салага?

Тут уж захихикал я — от ударившей меня догадки. Мне бы реветь от боли, я уже тогда любил ее, а я хихикал, подлец. То, что за такое в порядочных домах бьют морды, я не знал, да и руки мои были коротки до породистого, уже по-мужски оформленного лица моего нового соседа, да и придавил бы он меня, как кутенка.

— Пылаев, прекрати смех! — сделала замечание Марина Матвеевна и пошла к нам. Я, чтоб не видеть ее медали, уставился в обшарпанные и изрезанные доски парты, но и не глядя знал: мой сосед продолжает смотреть ей на колени, и от его взгляда, как это было не раз, она начинает краснеть.

— Скажи, Пылаев, что мы проходили на том уроке?

— Не помню! — сгрубил я, хотя и учил. Но она не услышала злобной ревности в моем голосе, она вообще меня не услышала. Она положила руку на широкое в кителе плечо моего соседа:

— Тогда вы скажите, Леша.— Его, единственного в классе, она звала на «вы».

Мой сосед величественно освободил свое тело из тесной ему парты:

— Мы проходили опричнину... Опричнина была суровой, но необходимой мерой Грозного. Первого действительного царя на Руси. Как сказал товарищ Сталин: Иван Грозный боролся с варварством варварскими методами...

И — пошел поливать. Историю, особенно походы и сражения, казни и перевороты, народные бунты и их подавление — все, что связано с войной, с кровью и смертями, он знал назубок. Сын военного, он уже выбрал свой путь.

— Умничка, пять,— произнесла Марина Матвеевна вдруг сломавшимся, волнующе охрипшим голосом.— Садитесь, Алексей Быков.

Ну, вот и все. Имя названо. Я добрался наконец-то до главного героя этой повести.

Дошел и остановился в оторопи: неужели он мне не приснился, Леха Быков? А жил-поживал и сейчас где-то живет-властвует. Живет почти наверное: здоров и силен он был действительно как бык, пятерых таких, как мы, хиляков стоил... Наверное, живет, если не пристукнул его очередной восставший раб...

По натуре, по далеким, от дедов-прадедов, генам своим он вовсе был не хан Батый. Правдив, по-русски широк и добр, чувствителен даже: книги, а особенно кино, случалось, трогали его до слез. Но это книги и кино — живых, людей-людишек он презирал, они существовали для него только как объект власти. И эта страсть к власти, главный человеческий порок и доминанта его поведения, разъела, погубила Лехину душу. Он много перенял от отца-генерала, привыкшего командовать, видевшего в окружающих только исполнителей своей воли. Возможно, даже скорее всего, это был боевой и хороший генерал, прошедший школу красноармейского товарищества, но Леха-то начал не с солдатских щей, а сразу со звания «младшего генерала»: пройдя с отцовским штабом два последних года войны, он был окружен адъютантами, денщиками, в большинстве не примерами для подражания, а то, может, и вовсе подхалимствующей, в чинах, сволочью, и она погубила его душу.

И еще — мать. Мать, с которой жил маленьким и к которой вернулся сейчас, оборотистая и жадная директорша «Военторга». Ведь что такое жадность, как не тот же — деньгами, вещами или, как в голодное время, продуктами — захват власти над людьми. Слабыми и неимущими. Или тоже жадными...

К нам в класс привела его Аделька-Сарделька, подруга его матери и наш завуч, божье наказание школы. Ульяна Никифоровна — ее гардероб-вешалка был рядом с кабинетом директора Вити, и все, что происходило там, она слышала — потом рассказывала, что Аделька хотела устроить Леху сразу в восьмой класс. «Змеей шипела, начальством стращала,— рассказывала Ульяна.— Да не на того напала, толстозадая. Витя хоть, видать, и испужался, а не уступил. «Без свидетельства я даже Героя Союза не приму!»

И Аделька-Сарделька привела его в наш класс.

Кличку свою она получила вместе с появлением в нашей школе осенью сорок второго, и прилепить ее могли только ребята приезжие, эвакуированные из столиц, потому что в нашей глубокой провинции мы знали лишь поговорку: «Лучшая рыба — это колбаса», а сарделек-сосисок сроду не видели, да и колбасу только американскую, в банках. Дразнилка эта была дана для контраста с истиной, от противного: по своей жирной полноте, по пухлым, словно обрубленным, ногам и рукам, она должна была быть нежна и добродушна. Но она была жестока и злопамятна, доносила Вите на нас, а на Витю тоже доносила. Не нам, понятно...

— Пго-гошу любить и жаловать,— не выговаривая «р», прогоготала она. — Ваш новый товагищ Алеша Быков.

Мы молча уставились на здоровенного парня, независимо держащего руки в карманах новеньких галифе,— он же, выше даже самого высокого в классе «сухостоя» и страстотерпца Альки Далина на целую голову, нас будто не видел, глядел куда-то вдаль.

И тут раздался с галерки удивленно-злой голос Борьки-Петуха:

— А почему он с волосьями? Нас, как баранов, обкорнали, а он в полубоксе?

Это был наболевший кровный вопрос, вопрос нашей жизни и смерти.

До шестого класса мы стриглись под ноль — от военной голодной вшивости — безропотно: раз надо, так надо. В шестом уже начали раздаваться отдельные протесты, которые были подавлены, а мы снова подведены под ноль. Но в седьмом, отрастив за лето шерсти на головах пальца на два и кто во что горазд расчесав ее, мы решили держаться железно, биться за наши прически, за наше право на красоту до конца. Тем более что надвигался наш первый «выход в свет» — первый осенний бал в женской школе номер 33, куда через верных людей мы уже получили приглашение.

Но за неделю до Октябрьских праздников вдруг вышел строгий приказ директора Вити: всем ученикам (до восьмого класса) с медицинскими целями, ясно, под угрозой исключения постричься нагладко,— у одного из нас, у недомерка Юрки Котлярова, был обнаружен в волосах «букет», то есть гниды, и над нашими прическами нависла смертельная опасность.

Надо было их спасать!

И мы надумали отправить к Вите полномочную делегацию. Путем прямого голосования в нее вошли я, хроник-сморкач, наш признанный мозговой центр Борька Парфенов и вечный возмутитель спокойствия, первый ученик Серега Часкидов. А главой делегации единогласно выбрали переростка Борьку Петухова, ибо он, работая в своей столярной мастерской по изготовлению гробов, твердо усвоил правило: будь понаглей и попроще.

В большую перемену мы двинулись к Витиному кабинету. «Ой, парни, не могу, сопли одолели! — пытался улизнуть от опасной миссии «наш мозг» Борька Парфенов.— Идите без меня». «У тебя всегда сопли»,— пресек его Борька Петух и толкнул Парфеныча в директорскую дверь:

— Можно, Виктор Иванович?

Витя, сидя за своим большим столом, что-то писал и на нас не смотрел — на нас смотрел со стены над его головой Иосиф Виссарионович Сталин. Мы тогда были окружены этими портретами. Сталин был всюду, но такого портрета мы еще не видели! Везде это был усатый мужчина средних лет с черными, как смоль, волосами. Но художник, рисовавший портрет для Витиного кабинета, исповедовал, видно, суровый реализм: сейчас на нас смотрел со стены строгий старик, седой будто лунь. Его волосы и даже усы были белее снега.

Между тем Витя увидел нас и еле заметно улыбнулся:

— Ну, да здесь целое посольство! Насчет чего, разрешите спросить?

И наш предводитель Борька Петух сробел от Витиной улыбчивой вежливости, забыл, что нахальство — второе счастье, он молчал как утопленник, сунув в рот свой большой, разбитый за деланием гробов палец.

— Так и будем в молчанку играть?

Тогда я ткнул Борьку в бок кулаком, он вытащил мокрый палец и — брякнул. Сказал фразу, которая в летописи девятой школы станет исторической: — Да мы всчет волос,— сказал Борька.

— Что значит «всчет»? Стричься, что ли, не хотите?

— Не хочем! — подтвердил Борька с зыйской безграмотной отчаянностью.

— Так.— Витя встал во весь свой долгий рост, отыскал глазами Серегу Часкидова. Серега хоть и был

нашим лучшим учеником, но за безобразия выгонялся из школы чаще других, и Витя его знал ближе нас.

— Вот что, Часкидов,— сказал Витя,— позовите сюда Юрия Павловича, он должен быть у поста номер один.— Пост № 1, главный и единственный боевой пост нашей школы, где стоял дежурный ученик с деревянным ружьем, был рядом с директорским кабинетом, возле раздевалки, и Юрка-Палка с Часкидовым явились тут же.

— Есть срочное дело, Юрий Павлович,— сказал Витя.— Приказываю забрать этих партизан, отвести в ближайшую парикмахерскую и подстричь под героя гражданской войны Котовского. Потом явиться за следующей партией семиклассников. Приказ понят?

— Так точно!

— Выполняйте!

— Есть!

И через пару часов, когда полномочная делегация явилась назад в школу, класс при виде наших голых голов смеялся до икоты и с тем же хохотом, уже не сопротивляясь, сомкнутыми рядами пошел на казнь — под тугую, нещадно дерущую за волосы и оставляющую косицы за ушами машинку базарного парикмахера.

Так в одночасье рухнули и наша мужская краса, и великие надежды на осенний бал в женской школе: не предстанешь же под светлые и строгие девичьи очи с лысой своей башкой! Да если она еще тыковкой, как у Борьки Парфеныча или с большущей, прямо питекантропической шишкой на затылке, как у Ваньки Хрубилы...

И вот в наше озлобленное и оболваненное общество привели человека, которому было, судя по всему, официально разрешено ношение прически: его прямые густые темно-русые волосы, расчесанные на косой пробор, круто уходили вбок и назад и отращивались долго... Значит, мы черненькие, а он беленький? Не пройдет! Но пасаран!

— В парикмахерскую его допрежь сводите! — заорал Борька Петух.— На рынок!

Завуч подняла вверх толстенькую ручку с растопыренными, и верно будто вареные сардельки, пальцами:

— Этот вопгос уже обсасывался навег-ху! Газгешено в погядке исключения. Алексей стагше вас. Пока вы учились, он воевал с немцами!

— Да ну! — не поверил Петух, а Серега Часкидов запел:

Немец-перец-колбаса,
Жарена капуста!
Слопал крысу без хвоста
И похвастал: вкусно.

— Пгекгатить безобгазия! — взвизгнула Сарделька, а Ванька Хрубила заблажил единственную, наверно, песню, которую знал,— из «Новых похождений бравого солдата Швейка», запел, теперь уже прозрачно намекая на самую Адельку-Сардельку:

Сосиски с капустой я ошень люблю!

— Попгошу! — оборвала его завуч.

Из каких неведомых краев попала в нашу окраинную рабоче-крестьянскую школу эта особа с ее стародворянским произношением? Как мог наш директор Витя, так тщательно и умело подбиравший учителей, допустить этот приход. Скорее всего, она была навязана ему...

— Попгошу не смеяться! А кто обидит новичка...

Но тут подал голос сам вновь прибывший.

— Пусть только попробуют обидеть,— сказал он, глядя поверх наших стриженых голов в даль, ведомую только ему.— Тогда они вообще смеяться разучатся.

И — замолчал.

Он молчал всю первую неделю, сидя в одиночестве на самой большой в классе парте. Потом у него появился сосед, смотревший ему в рот и ловивший каждое его движение...

Аделька же Сарделька попытается-таки отомстить нашему Вите за то, что вместо привилегированного восьмого класса Витя затолкал новичка в наш суровый седьмой. В тот день я как раз с деревянным мушкетом у ноги стоял часовым на посту № 1. Я охранял вход в раздевалку, болтал с Ульяной Никифоровной о жизни, как вдруг к нашей школе свернула с дороги машина с высоким крытым черным кузовом, перечеркнутым посередке красной чертой. Автомобили к нам, затерянным на окраине, подходили редко, больше клячи, водо- и дерьмовозки, и мы с Ульяной кинулись к окну.

— «Скорая помощь», што ли? А почему без креста?

— Кака «скора»? — ахнула Ульяна.— «Черный ворон»! Господи спаси...

Из машины вышли двое в одинаково черных и одинаково поношенных за войну пальто и, уверенно отстранив меня с моим деревянным ружьем, прошагали без стука прямо в Витин кабинет. Они плотно прикрыли за собой дверь.

— Чо будет-то, господи Исусе! — простонала Ульяна, а я замер на своем посту по стойке «смирно».

Вскоре дверь открылась и раздался, видно заканчивая разговор, холодный голос одного из пришедших:

— Своим так называемым реализмом вы подрываете великий авторитет! Наш вождь не может быть стар. Он велик и вечен. Идемте.

И они вышли. Впереди по-журавлиному поднимал свои тонкие ноги в высоких сапогах Виктор Иванович. Прижав к тощей груди злополучный портрет седого Сталина, он нес его осторожно и свято, как икону, за ним беззвучно двигались приехавшие — хмурые и безликие. Но уже у самого выхода последний из них обернулся и приказал тихо: «Об этом попрошу ни слова», и теперь уже не только я, заяц, вытянулся вдоль своего ружья почти без чувств, но и сама Ульяна Никифоровна замерла с открытым ртом. Однако вовсе лишить ее памяти было, видать, не так-то просто: лишь только «черный ворон» скрылся за углом, наша гардеробщица взвилась, осененная догадкой:

— Это не иначе она, змея подколодная, Аделька подлая, на Витю жалобу подала. А он тоже как дитя малое, нет чтоб нонешний, со звездами, портрет купить, повесил какой победней и думает ладно... У, доносчица! Давно сжить его хочет!..

Но что-то там сорвалось, мести не вышло, Витя отделался только испугом. Правда, похоже, далеко не легким.

К концу первой смены, когда я изнемогал под ружьем последние минуты, Виктор Иванович вернулся, мрачно сбросил на руки подскочившей Ульяны свое подбитое ветром пальтишко, огляделся вокруг, будто все еще не веря, что он у себя дома, и вдруг засветился всем своим худым, источенным туберкулезом лицом, а проходя мимо меня, положил, гладя, свою холодную длиннопалую руку на мою голову. Я притих, чуть благодарно не заскулив, как верный счастливый пес под рукою хозяина: таких нежностей наш суровый директор

не проявлял сроду. Прикосновение же к моим коротким, еще, видно, колючим волосам совсем вернуло его к жизни, и он сказал, даже имя мое вспомнив:

— Ты, Денис, передай своему седьмому, что я разрешаю больше не стричься. Все-таки не война, да и большие вы. Только смотрите, чтобы «букетов» не было, кавалеры!

— Не будет! — возликовал я.— А вшивого Котлярова мы всем классом чесать будем и через день в баню гонять!

— Годится! — сказал Витя и улыбнулся этому сорвавшемуся из нашего жаргона словечку.— Ну а сейчас сдай свое оружие и марш домой — уроки учить.

Я помчался, но у дверей военного кабинета налетел на Адельку-Сардельку, которая как ни в чем не бывало напропалую кокетничала с сомлевшим от тоски военруком Юркой-Палкой:

— Какой вы гобкий, Югий Палыч!.. А я всегда была чег-гтовски добга!

Будто невзначай ударом приклада о толстый бок «доброй женщины» я прервал ее гоготанье.

— Безобгазие! — заверещала Сарделька. Но ее крик мне уже был не страшен...

А на новогодний бал к девчонкам в их школу мы явились хоть и с маломальскими, но прическами, плясали, хлопая в липкие от волнения девчоночьи ладошки, популярный тогда танец «Светит месяц, светит ясный», играли в «ручеек», в живые телефоны и, конечно, в «почту». И больше всех писем с предложениями дружить получил, само собой, наш новый ученик, высокий породистый красавец, спокойный и лениво поправляющий крупной, почти мужской рукой свою расчесанную на косой пробор шевелюру.

Делал он это левой рукой — правая почти постоянно лежала в кармане галифе.

Там в его галифе, в обшитом кожей кармане, покоилось черное тяжелое тело парабеллума.

Но об этом знал, кроме него, только один человек. Я. Его сосед по парте.

Почему из всей нашей двадцатиголовой классной массы он выбрал меня — не знаю. Может быть, тоже, как Женя Херсонец, за мою все-таки не потухшую страсть к боевому оружию, а может, просто потому, что

человек, даже такой, как Леха Быков, не может быть один...

Школьной кают-компанией, клубом интересных встреч, кафе «Юный диалектик» — назовите как хотите! — была для нас в ту пору наша уборная. Здесь нам никто не мешал, правда, иногда в порядке профилактики, чтоб напугать очередным исключением за курево, налетал Витя, но это случалось редко, здесь мы были предоставлены самим себе, а значит — счастливы.

Я уже писал, что наша старая школа походила на чудовищного кентавра. Голова, которой она была обращена к улице,— это изящное каменное здание, где в высоких светлых комнатах размещались наши аристократы — восьми- и девятиклассники, а также учительская, со своей, ясно, уборной, и прочими службами. А туловище, длинное, лошадиное, холодное, уходило в зыйские огороды, тут был спортзал, военный кабинет, младшие плебейские, классы и она, наша уборная!

В ней, на холодном дурном сквозняке, под маленькими, как в конюшне, окошками, между сверху обросших, снизу обсосуленных дыр, скользя по ледяному полу, собирались мы в перемены и курили «по-солдатски» зеленый ядовитый самосад: встав кружком, по очереди, из уст в уста передавали друг другу одну огромную цигарищу. Курили до посинения, до тошнотного тумана, до ожога губ.

Курили и — спорили.

Главным заводилой в тех спорах был, конечно, Борька Петух, со своей сумасшедшей памятью и нахальством он обычно брал верх. Состязаться с ним мог только наш мудрец и сопляк-хроник Борька Парфеныч.

— А я те говорю, что Павка Корчагин украл у немца маузер! — кричал в тот раз Петух, жадно дожигая «фабрику», вонючий, уже без табака газетный конец цигарки.— Тише, ораторы, ваше слово, товарищ маузер!

— Нет,— возражал рассудительный Парфеныч, шмыгая красным носиком.— Точно я не помню, но не маузер.

— Вальтер,— подсказал вдруг стоящий в уголке маленький Юрка Котляров. Он один из нас, как самый маленький, носил еще красный галстук, остальные, уже готовясь в комсомол, таскали их в карманах, надевая только в пожарных случаях.— Дай докурю, Боряня,— попросил Юрка.

Петух выплюнул чадящую «фабрику».

— Я те докурю! Ты должон все средства от вшивости знать, а не наганы.

— И не вальтер,— снова возразил Парфеныч.— Но и не маузер.

А я за петуховской спиной лихорадочно вспоминал ту страницу из любимой книги: вот Павка забрался на крышу сада, вот увидел через сад Лещинских уходящего с Нелли немецкого офицера, вот соскочил в сад, побежал к дому, вскарабкался на открытое окно и...

— Я знаю, какой был пистолет. Спорим.

Петух повернулся ко мне:

— Ничо ты не знаешь, каловая масса! — Этой позорной дразнилкой Борька намекал на мою бабушку, бывшую медсестру, известную чистюлю даже в своей речи, даже запор называвшую не как ему следует, а каловым завалом.— И спорить неча,— презрительно сказал Борька.

Я взъярился:

— На стакан самосада! Ванька, разними!

Ванька Хрубила рубанул концом ладони наши сведенные руки, и я сказал прямо как по книге:

— На столе лежали пояс с портупеей и кобура с прекрасным двенадцатизарядным манлихером! Ну — съел?

— Врешь, клизма! — отчаянно взвыл Борька, ясно, тут же вспомнив все.— Ты и книги-то не читал!

— Не читал?! — Я схватил его за отвороты чахлого пиджака.— Сам ты петух ощипанный!

Борька замахнулся, и я понял, что опять ходить мне с разбитыми губами: бил Борька сильно и беспощадно, особенно правой — с расплющенным в столярке большим пальцем. Но не сносить же оскорбления! Я прицелился калганом в его покрасневший в холоде сортира нос.

И тут Борька отлетел к осклизлой стене: между нами стоял, словно забором разгородив, возвышался над нами наш новенький.

— Гони табак,— сказал он Борьке и из кармана сталинки — заталенного френча с отложным воротником, сшитого, как и галифе, из дорогой офицерской ткани хаки,— вытащил и открыл небрежно пачку «Северной Пальмиры». Большущий фанерный муляж такой пачки, с белыми разрушенными колоннами на фоне

пальм и пустыни, с довоенных еще времен стоял в окне нашего центрального гастронома. Настоящую же «Пальмиру» мы видели впервые.

— Курите, господа офицеры,— сказал Быков.— А насчет пушки, точно — манлихер. В эту войну был снят с вооружения, капризен... Ну — смелее. Все равно — война.

Это была его любимая присказка. И скрывается ли за ней только насмешливый военный словесный рудимент или его ледяное равнодушие ко всему миру, кроме себя,— я, к несчастью, пойму слишком поздно...

Все потянулись к открытой пачке, и лишь не умеющий и не любящий проигрывать Борька Петух сказал с презрительным ехидством:

— Таки папиросы курить, только зубы расшатывать. Вонькие они больно и крепости никакой. Русская армия завсегда на махорке стояла.— Но когда, оделив всех, Быков хотел захлопнуть пачку, Борька все-таки метнулся к ней своим расплющенным пальцем.— Ладно уж, сожгу одну. Так и быть.

— Сделайте одолжение,— сказал Быков, все засмеялись, закурили, окутываясь в неведомый нам сладкий аромат, убивающий даже привычный запах уборной, в тонкий, кружащий головы аромат далеких стран и будущих странствий. Наш кайф прервала Ульяна Никифоровна. Сунув руку в приоткрытую заледенелую дверь, она замотала своим боталом:

— На урок айдате, табакуры сопливые. Вон чо насмолили...

Обалдевшие ребята потопали в коридор, пошел и я, гордый своей победой над Борькой Петухом, но Леха Быков кинул мне через плечо:

— Подожди, разговор есть, знаток оружия.

Ребята ушли. Леха отошел от дыры, застегнул галифе.

— А настоящие пистолеты ты видел, Пылаев? — спросил он.

— Конечно, видел,— соврал я, а может быть, не соврал.— До войны у отца был браунинг. Как у чоновца. Он с бандитами боролся. И с ним на фронт ушел.

— Браунинг — это дамская пукалка. Хочешь, я тебе настоящий пистолет покажу?

— А не врешь? — спросил я, наученный горьким опытом с Женей Херсонцем.

— Я, брат, никогда не вру.

— И с немцами ты тоже воевал?

— Ну, это не я, это ваша Сарделина врет, шкура продажная! — зло сказал Леха.— Немцев, конечно, видел. Пленных. Но стрелять по ним не пришлось. Просто отец — генерал, при своем штабе возил. Чтоб я к армейской жизни привык. Я ведь офицером стану. Все равно — война!

— А когда револьвер-то покажешь?

— Поглядим на ваше поведение. Ну пошли, а то Тася-Маковка возгудать станет. А когда она кричать начинает, то и гляди рассыплется...

Но Тася-Маковка не кричала больше. Ее время прошло. Когда мы явились в класс, урок еще не начался. Таисия Макаровна, что сроду не бывало, опаздывала, ребята бесились. И вдруг в дверь всунулась все та же Ульяна Никифоровна.

— Не будет урока-то! — тихо простонала она.— Преставилась Макаровна. Померла... Осиротила она нас, сердешная!

— Ура! — по-дурному взвыл, еще не осознав случившегося, главный «сирота», вечный двоечник Ванька Хрубила.— Нах хаус, робя!

— Все в землю лягем! — прокричал непобедимый диалектик Борька Петух.— Все прахом станем.

Подхватив портфелишки, они кинулись к дверям. Но дорогу им загородил Леха Быков, мой новый товарищ. Он взял их обоих за шкирку и стукнул друг о дружку лбами.

— Ты чо! — заорали они.

— Не люблю шума,— сказал он. Только что смеявшийся над Тасей-Маковкой, сейчас, перед лицом смерти, он был серьезен.— Тихо, дети.

Я его понял, поддержал:

— И верно, чо раскричались.

Борька Петух, потирая ушибленный лобешник, внимательно поглядел в мою сторону и презрительно, сквозь зубы, сказал:

— Жалкий под-ра-жа-тель!

Сказал, как припечатал. Это была не расхожая, для смеха кличка вроде «каловой массы», это было позорное прозвище.

Я с детства догадывался, что Борька любил меня, любил и, ясно, ревновал. Каждую мою новую дружбу —

хотя бы с тем же Шакалом, которого он за худобу прозвал «мешком с костями», а сейчас вот с Лехой Быковым — он воспринимал как измену и мстил мне. Ехидно и зло высмеивал. Я уже привык к его обидным кличкам, но новое прозвище резануло меня до крови, потому что больше всего мы, выросшие на свободе, выше всего ставили свою независимость.

— Сам ты «чо по чо!» — взвизгнул я.— Харя неумытая. Гробовщик!

Но надсажался я напрасно, кличка прилипла.

— Жалкий подражатель! — заверещал вшивый Юрка Котляров.

— Подражатель! — поддержал его первый ученик и первый драчун Серега Часкидов.

И тут опять влезла в наш крик тихо стоящая у дверей Ульяна Никифоровна:

— Вы все придите ее проводить, горемычную. У ней ведь, окромя вас, детей не было. У, идолы окаянные...

В тот декабрьский студеный день наша школа украсилась с утра красным с широкой черной каймой флагом, повешенным над крыльцом, над парадными, на улицу, дверями. Из них вышли все наши школьные мужики: Витя, Вася, Яша-Пазуха, Юрка-Палка — и вынесли, легко придерживая за углы, маленький, будто детский, гробик.

Потом я много хоронил своих учителей, считай, почти всех унес туда, откуда нет возврата, но то были первые мои такие похороны, и больше мороза сжал мне душу вид этого затянутого в красное гробика, острый прозрачный нос и впалые, словно проглоченные, губы покойницы между чахлых, из деревянной стружки, голубеньких цветов. Я вспомнил ее истошный, сорванный за полвека учительский голос фанатички, ее огромные глаза, горящие молодым вечным пламенем, но больше всего почему-то — ее волочащуюся по полу указку и толстую ручку с 86-м пером, и, когда ударил, исторгая морозные жуткие звуки из труб и барабана, заиграл жиденький и сплошь красноносый оркестр, я заревел, и вся толпа подхватила в десятки, сотни голосов этот медный плач...

Да, я пережил потом много смертей, воспринимая их только как необратимое несчастье. Но эта смерть, эти похороны были больше, значительнее, чем просто

несчастье. Не боясь показаться кощунственным, я скажу: нам, тем давнишним ученикам, повезло пережить ее смерть — ибо она, маленькая и смешная Таисия Макаровна, учила нас, как истинный педагог, не только своей жизнью, но и смертью своей!

Гробик внизу подхватили девятиклассники, мы разобрали венки и, медленно застывая, покрываясь туманом и куржаком, двинулись... Мы шли по нашим зыйским улицам, мимо наших ушедших по самые окна в сугробы домов и глухих заплотов, и, когда вышли в поле, за которым маячили кресты и деревья Ивановского кладбища, процессия увеличилась вдвое: а может, втрое: всех мужиков и баб, живущих на нашей рабочей окраине, выучила неистовая Тася-Маковка.

Надгробную речь говорил наш Широчайший Вася, «немец» Василий Александрович тоже, оказывается, бывший ученик Таисии Макаровны. Он содрал солдатскую, с фронта, шапку, вовсе посинел своим лошадиным лицом, и, когда открыл рот, обнажив черные большие зубы, показалось: ничего, кроме скрежета и стона, не пролезет сквозь них. Но он вскинул голову, голую и тоже синюю от мороза, и прогремел, четко, медленно выговаривая каждое слово:

— Любой человек должен совершить в жизни подвиг. Но не всякому это дано. Таисии Макаровне Мезениной это было дано! Ее любовью и мужеством... Перед войной мы, молодые тогда учителя, проводили ее на покой. На заслуженный отдых. Но когда в первые дни битвы наш историк, коммунист и депутат Федя Оплетин, вы его знаете, ушел на фронт и погиб, она снова вернулась в свою школу...

Он замолк, резким движением длинной ладони смахнул куржак с лысины и закричал:

— Она подхватила знамя, выпавшее из рук погибшего бойца, и несла его до своего смертного часа! Мир и покой ей, учительнице и подвижнице русского народа!

И, перейдя почти на хрип, Вася прочитал Гёте. Прочитал, понятно, по-русски. Мы, молодые, немецкому, по нерадению и годам, еще не обучились, а старшие, за великими русскими своими трудами и битвами, конечно, его позабыли. Да и не к месту бы прозвучали немецкие слова, пусть и прекрасные, над скромной российской могилкой. И Вася прочитал Гёте по-русски, чуть переделав его на свой лад.

— И подтвердит она, пройдя через годы, конечный вывод мудрости людской: лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!.. И она каждый свой учительский день,— хрипел Василий Александрович,— шла на бой, шла на подвиг каждый час, каждую минуту урока... За жизнь и свободу... Ибо они даются только ясным общественным знанием... Вечная ей память!

Опять ударилась в плач неутешная Ульяна Никифоровна, опять врезал, разрывая спрессованный горем и морозом воздух медноголосый оркестр красноносых музыкантов, и вместе с ударами барабана в крышку опущенного на дно детской могилы гробика ударили первые комья земли со снегом. В быстро образовавшийся холмик директор Витя собственноручно вонзил железную пирамидку с красной звездой на макушке...

— Останемся,— сказал мне Леха Быков, когда люди побрели между могил к воротам с покосившимся крестом над ними.— Дело есть.

— Ноги окоченели, не могу.

— Ты же в валенках,— сказал Леха и показал на свои офицерские сапоги.— Терпи, солдат, генералом будешь.

И когда голоса смолкли вдали, когда потревоженные старые вороны снова расселись, нахохлившись, по деревьям, когда не согреваемая уже человеческим дыханием стужа вовсе озверела, в жуткой тишине уходящего в вечер кладбища Леха Быков вытащил из кармана черный вороненый пистолет. Он лежал на его широкой ладони, на слегка протертой в складках офицерской перчатке из хромовой кожи, упираясь большой, чуть загнутой, с рифлеными щечками рукояткой в запястье, туго застегнутое на блестящую кнопку. «Это настоящий?» — чуть не спросил я, навеки тем самым опозорив бы себя: уж больно с первого взгляда пистолет был похож на наши поджиги — одна ручка да ствол. Но скошенная назад мушка, прицельная планка, спусковой крючок, мощный затылок казенной части и вся, ощутимая даже на глаз, тяжесть невиданного оружия кричали: осторожно! смертельно!

— Главное личное оружие офицеров вермахта,— сказал Леха.— Парабеллум. Прицельная дальность — сто метров, убойная сила — восемьсот... Сколько было лет вашей старухе?

— Какой? — не понял я, как привязанный глядя на Лехину ладонь.

— Ну, этой... Таисии...

— Лет семьдесят, поди.

— «Поди»! — передразнил Леха.— Надо отвыкать от зыйских словечек. Знаменитая, выходит, боевая была бабушка! — Леха сдвинул вверх планку предохранителя, пальцами левой за рифленые кругляшки на казенной части оттянул ствол назад и отпустил. Раздался резкий сильный щелчок.

«Поставил на боевой взвод»,— догадался я.

— Военный салют погибшему на посту солдату истории,— сказал он, медленно поднимая парабеллум.— Семью пистолетными выстрелами.

И один за другим, больно хлестнув меня даже через опущенные уши шапки по барабанным перепонкам, ударили в холодной мертвой тишине четыре выстрела.

Сверху на нас посыпался снег, сметенный с деревьев не то детонацией спрессованного морозом воздуха, не то испуганно, с диким карканьем взлетевшими воронами.

Леха протянул парабеллум мне...

— Теперь ты,— приказал он.— Три раза.

Я скинул прямо на снег варежку, чтоб освободить палец для спускового крючка, ожегся ладошкой о мерзлую железную тяжесть, поднял ее вверх и, невольно закрыв глаза — стрелял-то я первый раз! — нажал спуск... И вместе с отдачей и запахом пороха пришло ко мне видение тысяч, а может, миллионов других русских могил, раскиданных, затаившихся на нашей и чужой земле в недавней войне, одиноких и братских могил... Наших отцовских могил... Я салютовал не только Тасе-Маковке — я салютовал им!

Когда отгремели выстрелы и на кладбище, прозванном в честь первого безвестного Ивана, похороненного здесь, снова навалилась мертвая тишина, после грома еще более жуткая, я отдал Лехе пистолет и, натянув на окоченевшую руку варежку, кинулся разгребать снег — искать стреляные гильзы.

— Не мелочись,— сказал Леха и, легко подняв за воротник, поставил меня на тропу.— Пошли. Патронов хватит. Все равно — война!

На следующий день я пересел на парту к Лехе Быкову, таинственно сказав моему вечному соседу Леньке Шакалу, что так надо, и стараясь не глядеть в его сосущие укором беззащитные голубые глаза. А вместо Таси-Маковки пришла, теперь уже окончательно сразив наши сердца своей почти ежедневной близостью, фронтовичка и красавица Марина Обрезкова. Мы, одичавшие без женского общества, но уже томимые пробуждавшейся мужественностью, буквально балдели от ее вида и от ее голоса, не знали, что делать: то впадали в жуткое послушание, то устраивали беспричинные скандалы,— и только мой новый сосед, повидавший за свои военные скитания, поди, кое-кого и побаще, остался равнодушен к новой историчке.

— Боевая подруга, полевая жена,— небрежно сказал он, но своего отношения к истории не изменил. А историю он знал здорово, не то что математику и русский, где без моих подсказок плавал как топор. Однако принимал он мои подсказки не как Ленька Шакал — с униженной благодарностью, а со снисходительной благосклонностью сюзерена, собирающего дань. Но я готов был терпеть эту обидную снисходительность, переносить отчужденность класса, все более усиливающуюся (петуховская кличка «жалкий подражатель» пристала ко мне, как несмываемое клеймо, хотя в глаза ее произносить боялись, даже сам Петух замолк, не меня, конечно, испугался — Лехи); я шел на все это за нашу с ним тайну, за те упоительные минуты власти, которые давал парабеллум, когда он ложился в мою руку...

По вечерам мы встречались с Лехой у здания «Военторга», нижний этаж которого занимал магазин, лучший тогда в нашем еще не отошедшем от войны городе, где директорствовала Лехина мать, а в верхнем была их квартира, встречались и через Горбатый мост уходили на Шихан. Там, среди пустынной высоты окружавших нас скал, мы стреляли. Лежа, с колена, стоя — как в тире, по мишеням, которые Леха доставал в воинской части. Никогда после, а потом мне немало приходилось популять в белый свет, как в копеечку, из наганов, ТТ и отличного пистолета Макарова на разных военных сборах, никогда после я так точно не стрелял. Был ли тому причиной редкой точности бой самого парабеллума или мой азарт, моя страсть, которая потом сменилась полным равнодушием, даже отвращением к ору-

жию, хотя само оружие в том не виновато,— сказать не могу. Но никогда я так здорово не стрелял!

И все равно моя меткость и рядом не стояла с мастерством Лехи Быкова. Это был прирожденный стрелок, это был гений огневой подготовки. Пистолет лежал в его широкой мощной ладони как впаянный и вместе с выпущенной пулей был, словно шпага д'Артаньяна, смертоносным продолжением его глаза, его руки, его воли!

На обратном пути, лежащем через глухие горняцкие переулки, мы лупили однажды по редким уличным фонарям-лампочкам под железными колпаками, горевшими на верху телеграфных столбов. Сложность была в том, что маленькие лампочки раскачивались вместе с колпаками на ветру, и попасть в них было нелегко. Но мы попадали. Леха — с первого раза.

Я до сих пор помню, как возникала, будто на экране, в качающемся огне лампочки черная мушка пистолета, как, дрожа, она выравнивалась с краями прорези прицела, как медленно и плавно уходил под пальцем спусковой крючок, как каждый раз неожиданно гремел выстрел, как не больно ударяло, а просто сильно вдавливало отдачей в ладонь рукоятку, как обдавал меня запах пороха, как поднималась, выбрасывая куда-то в снег пустую гильзу, затворная рама и снова садилась на место, досылая в ствол следующий патрон. И я снова целился и стрелял, стрелял, пока далекая лампочка на столбе не разлеталась вдребезги. Мы шли по тем улицам, оставляя после себя вековую, как тысячу лет назад, тьму, шли, наводя на обывателя страх: тогда, сразу после войны, слухи о «Черной кошке» и других бандах не были просто слухами...

В классе, понятно, никто не знал о наших молодецких утехах, об огневой подготовке вольных стрелков: пропасть между мною и моими прежними друзьями ложилась все шире. Класс, кроме меня, не принял Леху Быкова, так же, как он, Леха, не мог принять класс. Да и не нужен ему был он, он нашу классную мелкоту, как сейчас говорят, в упор не видел. И хоть он был добр, одаривал папиросами, да и конфеты в его карманах часто водились, и хоть зря никого не обижал, просто врезал кому-нибудь, если уж очень досаждали,— в классе установилась тоскливая тишина. Не испуганная, как при Витяе Кукушкине: общество, пережившее

длительный период вольности, уже прежним не может быть,— а гнетущая и злая, каждый ушел в себя.

Только я ходил, высоко задрав голову, как человек, приобщенный к власти: за моей спиной стоял Леха с его силой и его парабеллумом, подаренным ему, по его словам, одним Героем Советского Союза, другом его отца-генерала.

— Там этого трофейного добра было навалом,— сказал Леха.

— Не мог еще один взять, для меня,— упрекнул я.— Какой-нибудь вшивенький вальтер.

— Не твоим ртом мышей ловить, подрасти,— сказал Леха и, смеясь, добродушно, но страшно больно щелкнул меня в лоб железным ногтем указательного пальца.

И я не знал, плакать мне или смеяться от этой боли, от этой снисходительной доброты, я тоже потерял естественность чувств: мое существование возле Лехи было похоже на сон, обидный, болезненный, но в то же время упоительный своей властью и громом выстрелов.

Однако всякий сон, даже в сказках, имеет конец. Но меня разбудил не королевич Елисей из русской сказки — продрали мне глаза, вернули меня к жизни три вещи иностранного происхождения: американская тушенка, французская борьба и опера «Травиата» итальянского композитора Джузеппе Верди...

В тот год, предвещая сухое лето, весна грянула необычно рано.

Уже восемнадцатого марта мы сбросили зимние одежды, пацаны вовсю резались на припеке в чику и бабки, а жалкие остатки снега белели только по огородам, и то у заборов. Я это хорошо запомнил, потому что день 18 марта, День Парижской коммуны, был и остался для меня одним из самых святых праздников. И не потому, конечно, что он приносил долгожданное освобождение от измучивших морозов, нет! — пролитая кровь первых французских коммунаров, которые «штурмовали небо» и которые первые пусть на время, но скинули богатую сволочь и установили коммуну бедняков, кровь эта своей малой каплей билась, видно, и в крови зыйского мальчишки: я всегда чувствовал героев парижских баррикад своей кровной родней...

А Первого мая вообще стояла летняя жара, и мы сверкали на пиджаках новенькими комсомольскими

значками. И когда жидкой школьной колонной, но с барабанами, трубами и многими флагами мы продемонстрировали свою солидарность, Леха Быков вдруг пригласил меня к себе в гости.

— К тебе домой? — испугался я.— Нет, я матери твоей стесняюсь. Да и бабушка наша пирогов напекла. Ждет.

— Бабушка не медведь, в лес не убежит.— Леха крепко взял меня за локоть.— А моя родительница не кусается. Кроме того, она нас видела, и ты ей понравился. Сразу, говорит, ясно: умный мальчик. Так что топай вперед, гигант мысли.

Но на подходе к «Военторгу», Лехиному дому, я снова затормозил, рванулся назад.

— Да что я там делать-то стану, один среди чужих?

— Не боись. Там сейчас будут свои: мамашина бражка соберется только вечером.

— Как свои-то?

— Увидишь,— сказал Леха и потащил меня наверх.

Но в просторной прихожей, застланной толстым ковром, я опять невольно отступил: прямо на меня вытаращилась со стены, ошарашив мертвым взглядом фиолетовых глазищ, бородатая, мохнолобая и черная коровья башка с угрожающе загнутыми, полумертвыми, в толстых годовых витках рогами.

— Своих не узнал? — засмеялся Леха.— Это же наш фамильный герб: Быковы, бык. Королевский зубр! Батя из Германии послал, снарядом этого короля пущи укокошило, на поле боя... Снимай лапсердак-то.— И Леха накинул на страшные рога вслед за своим новеньким кителем мой поношенный пиджачок, и дикая морда, превратившись в вешалку, сразу утратила свою свирепость, присмирела будто.— А ботинки не снимать,— приказал Леха, заметив мое движение.— Двигай так. Солдаты приберут... Да что ты на меня вылупился? Нам, как генеральской семье, денщик положен. Ну, вперед.

И мы вступили в залитую солнцем гостиную. И тут я совсем потерялся и обалдел. В гостиной, кто где, сидели и стояли мои учителя!

Аделька-Сарделька с видом старой приживалки, устроившись за круглым инкрустированным столиком, показывала литераторше Екатерине Захаровне, Жабе, привычно и заполошно хрустящей суставами лягушечьих пальцев, толстый, в серебряных застежках альбом —

наверное, быковский, семейный. У открытого пианино, черного, со старинными, на шарнирах, подсвечниками, стояла Марина Захаровна Обрезкова, наша юная историчка, женщина моей мечты, любовь моя. Она осторожно трогала, крутя их, древние подсвечники, будто играла, но при виде пришедшего Лехи как от огня отдернула пальцы и вцепилась ими, чтобы снова найти себя, в свой надежный боевой офицерский ремень, так сурово и нежно стягивающий ее талию. А возле напольных, до самого потолка чудо-часов стоял физик Яков Иосифович, Яша-Пазуха. Он тоже пытался скрыть свою неловкость и с преувеличенным вниманием, воткнувшись лбом, рассматривал золотой, с вершковыми латинскими знаками часов циферблат, золотые же, тяжелые гири, богатую деревянную резьбу на большущем ящике футляра.

— А он вместо гроба вполне сойдет,— вдруг брякнул Яша, чтоб прервать давно, видно, копившееся молчание, и, чтоб поправиться, заторопился своим неповоротливым языком:— Похожий механизм я в Германии видел. Когда после боя мы в городе Бернбурге стояли. Ну, точь-в-точь такой же будильник!

— А эти часы и верно из Германии,— сказал Леха,— военный трофей.

— Да что ты говоришь, неужто военный? — удивился Яша и сказал строго:— Ты почему, Быков, в волетбольную секцию до сей поры не записался?

— Вы же знаете, Яков Иосифович, что я боксом занимаюсь,— сказал Леха со снисходительной улыбкой.— При воинской части. Между прочим, имел уже двадцать боев и все выиграл, все равно — война!.. А в волейбол возьмите его.— Он подтолкнул меня вперед.— Он прыгучий и вообще гигант мысли.

— А чо, он парень сообразительный,— согласился Яша,— разводящим пойдет. А подрастет, тушить научим, цены не будет.

— Здравствуйте,— сказал я глядящим на меня Адельке-Сардельке и Жабе.

— А здоговаться необязательно, Денис,— пролила мед толстыми губами Аделька, хотя я знал, что она всегда ненавидела меня, впрочем, как и я ее.— Мы уже виделись на демонстгации...

— Ну, вот и молодое поколение явилось! — в комнату вплыла полная статная гранд-дама, в которой я

сразу определил Лешкину матушку. Все в ней было царственно: и венец черных кос вокруг головы, и черное панбархатное платье, оставляющее открытыми полные руки и шею, и походка царственная. Только вот глаза, заплывшие складками, были слишком малы, да еще в том, как она, прихватив толстыми, в кольцах пальцами за горлышки, несла три раскрытых бутылки, было что-то грубое: так таскали бутылки с водкой крикливые и нечистые продавщицы в наших бедных магазинах...

Я проследил, куда она идет, и ахнул... Как я раньше-то проглядел: ослеп, что ли, от солнца и от вида своих учителей?.. Она шла к большому обеденному столу, раскинувшемуся посреди комнаты и повергшему меня в столбняк, в немую, до спазмы в желудке, оторопь.

Чего только там не было! И хлеб навалом, и красная икра, и сливочное масло, и шпроты, которых я не видел с довоенных времен, и толстоспинная, истекающая жиром селедка, уже обложенная кольцами лука, и какие-то салаты — все это на ослепительном, с золотыми рисунками фарфоре. А в центре стола лежали, как самое главное, как пища богов, громоздились на огромной тарелке уже освобожденные от банок, но сохранившие их форму бруски американской тушенки — розовые, покрытые нежно дрожащим прозрачным желе и белыми твердыми кусочками застывшего жира. Она, тушенка, не была украшена ни луком, ни другой зеленью: она не нуждалась в украшениях, она говорила, она кричала сама за себя!.. Я всю долгую войну, все детство мечтал отведать ее, но попробовал — комочек тушенки на кусок хлеба — только в День Победы у первого ученика Сереги Часкидова, у которого родители были какими-то большими шишками на нашем местном заводе. (Неграмотная бабка Часкидиха сумела-таки вывести свою дочь в инженеры, а та уже подобрала по себе мужа — Серегиного отца...) А тут — раз, два, три, четыре, пять, шесть — по банке тушенки на рыло, ешь не хочу!

— Ну, гости дорогие,— сказала, ставя на стол бутылки, Лехина матушка, сказала без подобострастия, свободно и доброжелательно,— милости прошу к нашему шалашу. Чем богаты, тем и рады.

Я видел, как притянутые, словно магнитом, поднялись и двинулись к столу Аделька-Сарделька и Жаба, будто сомнамбула, сделала неверный шаг от пианино

Марина Обрезкова. Но вдруг, останавливая это движение, раздался от часов голос Яши-Пазухи:

— Вы тут как на Маланьину свадьбу наготовили! Но я — пас.

В толстых складках лица Лехиной матушки вдруг светло и зло проклюнулись глазки:

— За что обижаете, Яков Иосифович? Мы от чистого сердца.

— Я вас понимаю.— Яша стоял как столб.— Но мне нельзя.

Нельзя? Я взглянул на Яшино окаменевшее лицо с вылезшими остро скулами, и мне вдруг вспомнилось его холостяцкое жилье — комнатушка при школе, куда я забегал как-то, посланный директором: узкая железная кровать с висящей над ней вместо сабли хоккейной клюшкой, деревянные полки, забитые какими-то старыми приборами, табуретку, голый стол — и никаких признаков еды, никаких. Даже обычного чайника, по-моему, не было.

— У меня режим, а спорт и спирт несовместимы.

— Ну, вы не пейте, пожуйте чего-нибудь.

— Тоже нельзя. Спортсмен должен быть худ, как шакал, и силен, как тигр. Постоянно испытывать в желудке приятную пустоту. Да и там,— Яша сделал движение рукой куда-то вдаль,— в ожидании второго фронта я этой союзной тушенки от пуза нарубался, до сих пор лихотит... Так что счастливо оставаться, я побежал. Покеда.

Он пошел. Но у дверей остановился.

— Сержант Обрезкова! — каким-то другим, приказным тоном сказал он.

Прекрасная Марина Матвеевна, уже приблизившаяся вплотную к столу, вздрогнула и по-солдатски повернулась на голос:

— Слушаю!

— Вы не забыли, что вас, как пионервожатую, приглашал к трем часам директор! Подбить итоги демонстрации.

— Он меня не вызывал,— пролепетала бедная Марина.

— А вы вспомните,— сказал Яша, не отрывая от нее взгляда.

И под этим взглядом ясные, огромные глаза моей любви наполнились слезами.

— Так точно, вызывал. Прощайте.— И четко отбивая шаг каблуками своих сапожек, прекрасная, истончившаяся от недоедания сержант Обрезкова прошествовала мимо Яши в прихожую.

— Покеда,— повторил Яша-Пазуха.— Приятного аппетита.— И закрыл двери.

Все молчали, ошеломленные этой сценой. Первой очнулась хозяйка.

— Удивляюсь,— сказала она, устало опускаясь на стул.— Чему этот солдафон может научить детей... Маланьина свадьба... Нарубался, покеда...

Я, очнувшись, тоже рванулся туда, за ушедшими, но Леха крепко, до резкой боли сдавил мне локоть.

— Простите его.— Екатерина Захаровна, Жаба, оглушительно хрустя суставами, робко поднялась на защиту чести учительского мундира.— Эта грубость внешняя, отрыжка войны. А в целом он добросовестный человек и неплохой педагог.

— Ну, ладно,— усмехнулась хозяйка.— И хамство спишем на войну. Все равно — война! Но мы-то чего ждем, зря, что ли, я старалась? Мальчики пьют горький лимонад, а мы — сладкую водочку. Приучил меня к ней мой генерал в довоенных скитаниях. Где только не скитались с ним, каких клопов не кормили! Но кто старое помянет — тому глаз вон... Значит, за Первомай! Из всех праздников я больше всего этот люблю... Весна... Цветение души. Как в мирных песнях: «Давай вставай, кудрявая...» Или «Утро красит белым цветом...»

— По-моему, в песне не так,— по учительской привычке поправила Жаба.— «Нежным цветом», по-моему.

И зря. Генеральша, видно, не терпела поправок и возражений.

— Так! Я их на Красной площади пела. Меня сам Сталин слышал... Ну, поехали! — И хозяйка опрокинула свою рюмку. Аделька шарахнула вслед за ней, не моргнув, и перепуганная вконец Жаба тоже проглотила свою горькую долю, но, видать, сроду не пившую, ее перекорежило, щуплое тело сотрясли судороги, однако, очухавшись, она, вслед за Сарделькой, тушенки нагребла себе полной мерой, отчаянно краснея бледными щечками. Так же краснела, когда угощалась, приходя к нам, бабушкиными картофельными — пустыми и постными — пирогами. Вот уж верно: голод не тетка, довел человека...

Через три года, окончив десять классов, мы с Борькой Петухом, тоже, как и я, выбравшим литературную стезю, придем в ее скромную, но изящную и чистую комнатку старой девы. Придем поблагодарить и проститься. И она будет угощать нас малиновым ликером (уже не ученики, без пяти минут студенты!), диковинным печеньем, тающим во рту, шоколадными конфетами в золотых обертках, угощать и, глядя на нас, гордиться нами, смеяться счастливо и свободно! Однако это будет другое время, уже бескарточное, и это будет другой человек — не придавленная голодом Жаба, а Екатерина Захаровна Сибирякова, наша любимая литераторша и наставница, по-молодому скачущая на высоких модных каблуках, вдруг забывшая свою жалкую привычку хрустеть суставами пальцев, зато приобретшая новую — при смехе хлопать в ладоши.

Но, накапав в крохотные рюмочки (мы с Борькой уже знали тару и побольше!) розового вязкого напитка, она вдруг опять станет серьезной.

— Первый тост,— скажет она,— мы выпьем, друзья, в память без времени погибшего Миши Беляева. Он тоже очень любил литературу, больше — жил ею! И сейчас уезжал бы в университет — вместе с вами.

Петух вытаращил глаза: Мишку он не знал, он в то время колотил гробы в своей столярке. Но я-то Мишку Беляева не забыл, не мог забыть! И его опухшее от дистрофии лицо, покрытое белым, длинным, голодным пухом, и его смешную привычку представляться тезкой, лейб-гвардии гусарского полка корнетом Лермонтовым, и его песни.

И мы выпили липкого приторного вина за короткую и горькую Мишкину жизнь.

Но это будет три года спустя...

Леха Быков не чувствовал никакой растерянности перед учителями, не то что я, не знавший, куда девать руки и ноги.

— Люблю повеселиться, особенно поесть! — сказал Леха, наваливая на свою тарелку. Я тоже — будь что будет! — прихватил тяжелой ложкой-раздаткой смачный кусок тушенки. Но... но он оказался слишком велик и пополз с ложки, грозя рухнуть на скатерть. Господи, что делать! И я, стремясь избежать позора, кинулся ему навстречу и с лета затолкал себе в рот.

Аделька аж взвизгнула, но Леха, спасая меня, засмеялся по-доброму.

— Ты куда торопишься, Дениска-ириска? Как говорит ваш Широчайший Василий Александрович, торопливость нужна только при ловле блох.

И тут случилось страшное. Может быть, Лехины слова воскресили во мне далекого Витяя Кукушкина, или прозвище Дениска-ириска вызвало из памяти тоже почти забытого Женю Херсонца, но скорее всего, упоминание здесь, в позорном обжорстве среди огромной, победившей, но еще голодной страны, живущей по карточкам, насмешливое упоминание имени нашего «немца» Василия Александровича, который и был для нас именно воплощением этой страны,— не знаю что, но кусок застрял в моем горле. Мясо забило рот. Нежное, оно жевалось, однако вкуса его я не чувствовал, и в горло оно не шло.

Я понял: и не пойдет, и еще немного — и я подавлюсь, задохнусь, помру за этим страшным столом. Или еще хуже — меня вырвет прямо на эту роскошную еду.

— Что с вами, Денис? — спросила все видящая Аделька-Сарделька.— Вам нехогошо?

И этот ненавистный голос вытолкнул меня из-за стола, и я, с грохотом повалив стул, кинулся в прихожую. Однако сознание еще не потерял — надо было надеть пиджак, но, пока я подпрыгивал и, из последних сил стараясь не выплюнуть американскую тушенку на толстый немецкий ковер, пытался снять, сорвать пиджак с рога королевского зубра, Леха догнал меня, снял пиджак.

— Зыйское ты чучело,— сказал он без злости и обиды.— На, одевайся и беги под подол к своей бабушке. А это тебе на дорогу.— Он сунул какой-то предмет в карман моего пиджака и протянул пиджак мне.

Я рванул двери. Но до улицы не добежал, не успел: меня вывернуло — со стоном и со слезами — прямо на лестнице.

Тем и закончился мой первый званый обед...

Потом я шел весело шумевшими, с флагами над воротами домов, шел улицами моей родной Зыи, постепенно приходя в себя. И когда совсем очухался — полез за папиросами: я уже говорил, что мы тогда курили вовсю, и в кармане моем лежала праздничная пачка «гвоздиков», тоненьких, в три спички, папирос «Звезда».

Я полез в карман и наткнулся на то, что сунул мне при моем бегстве Леха.

Это был увесистый, с ладонь брусок, затянутый в серебряную фольгу. Я надорвал ее и — разинул рот,— в руке у меня лежала... плитка шоколада, только в форме бруска, тоже, конечно, американского шоколада, потому что в коричневой его массе белели крупные вкраплины орехов. О таком шоколаде с орехами мне рассказывал все тот же Серега Часкидов, начальничий сынок.

Я быстро огляделся — Зеленая моя улица была пуста: ее жители благодушествовали после демонстрации, ели «картонные» пироги, пили, если она была, картофельную же брагу. Я был один и мог без стеснения есть эту заморскую сласть, смакуя и наслаждаясь. Еще мгновение, и зубы мои впились бы в твердую коричневую массу, но тут странная мысль, мысль-тоска остановила меня. Та же мысль — о моем одиночестве. Но не о сиюминутном. А о давнишнем уже. Потому что дружба с Лехой Быковым — это тоже одиночество. Одиночество вдвоем.

И я решился. Я выправил на теле шоколада разорванную фольгу, разгладил ее даже ногтем. Сунул плитку в карман и побежал.

Я бежал к одному дому. К старому, двухэтажному, с двором, заросшим лопухами и «калачиками».

Сейчас я стукну в покосившиеся ворота, и мне откроет мой старый, мой единственный верный друг. Друг, который в классе чуть не целый год сидит тоскливо один, но на место рядом с собой, мое бывшее место, никого не пускает. Он старается не глядеть на меня, но, видно, не может, и я часто ловлю — со стыдом и болью,— ловлю взгляд его голубых, будто сосущих глаз... Сейчас он откроет мне, мы сядем рядом с ним прямо на молодую траву и, разломав плитку, торжественно съедим ее; это ведь настоящий шоколад, а не какие-нибудь там калачики! И даже не пеклеванный хлеб... И я наконец смою свою вину перед ним, поблагодарю его за все!

Я бежал к Шакалу. К Леньке Шакалову.

Но открыл мне не он — его старый, совсем не изменившийся отец. Только вместо кальсон по случаю праздника на нем были штаны, правда, мало чем отличающиеся от исподников, да прямо на нательную ру-

баху вздет древний пиджак, на котором, тоже, видать, по праздничному случаю, прицеплен георгиевский крестик, беленький, маленький, истончившийся до толщины бумаги. А может, и верно бумажный.

— Нету Леньки-то,— сказал георгиевский кавалер.— Летает где-то, шакалит...

Вот беда. Но отступить я уже не мог. И ждать тоже: один съем. И сделал широкий жест.

— У меня к вам просьба. Передайте ему вот это. Скажите, от Дениса. Подарок к празднику.

Старик взял шоколад. Выцветшие глаза его вспыхнули диким огнем.

— А как же — передам. От Бориса.

И он захлопнул ворота. И я понял, что ни шиша он не передаст, не доходя до дому, остервенело и удивленно слопает «подарок» сам. «Ну и черт с ним, с этим быковским шоколадом!»

И я поплелся домой. Под подол к бабушке...

Но вечером, когда, позабыв все на свете, я обмирал над первым томом «Тихого Дона», только что вышедшего приложением к «Огоньку», в наш домишко ввалился Леха Быков. Веселый, будто ничего не случилось.

— Бросай советских классиков! — как прежде, приказал он.— Одевайся и пошли. Все равно — война!

— Никуда я с тобой не пойду.

— Пойдешь! — Леха торжествующе засмеялся.— Матушке прислали два билета в цирк. На сегодня!

Видно, чем-то задел я его душу, дорог, что ли, чем-то стал, раз он для меня так расстарался. А может, просто привык?.. Но подарок он мне сделал действительно могучий.

Сегодня в нашем цирке должны состояться решающие, заключительные и прощальные схватки французской борьбы. Сегодня наконец-то сойдутся в финале доселе непобедимые, сойдутся в борьбе за звание сильнейшего в мире легендарные Ян Цыган и Ван Гут!

Я уже месяц назад начал клянчить у бабушки пять рублей — столько стоил в этот день билет даже на галерку, на самый последний ряд.

Но сперва бабушка, вечная экономка и скареда, считавшая, что деньги развращают (а какие это тогда были деньги — пять рублей!), сперва бабушка прикидывалась неимущей, думающей больше не о возвышении моего боевого духа, а о поддержании наших с бра-

том Вовкой хилых тел, а когда после моей истерики раскошелилась, было уже поздно: все дешевые билеты на прощальные состязания оказались проданы.

Как я хотел, как мечтал поглядеть эту схватку гигантов!

Но вид счастливого Лехи, уверенного, что я опять побегу за ним, как собачка, вдруг напомнил мне комья американской тушенки на большущем блюде, сильный вкус которой не смогли перешибить бабушкины худые пироги. И снова вцепился в Шолохова.

— Почему сидим? — удивился Леха.

— Не хочется. Да и далекий ряд, поди? Лиц не разобрать!

— Почему далекий? Первый ряд! Моей родительнице других не шлют.

Все. Я был сражен. Я еще сроду не сидел в нашем цирке на первом ряду! Я вскочил, как подброшенный: значит, я увижу не только знаменитых борцов, но и великого клоуна Бориса Вяткина с его Манюней!

— Ну, шапку в охапку — и за мной! — сказал Леха.— Я тебя на улице подожду. Тесновато тут у вас.

Он вышел, а ко мне кинулась бабушка, которая из своей кухни успела, видать, разглядеть моего гостя.

— Это и есть твой Быков?

— Он и есть,— ответил я, в спешке не попадая в штанины.

— Какой прекрасный юноша! — всплеснула она руками.— Но почему во всем военном? Он что, бывший сын полка?

— Это настоящий сын генерала.

— Генерала? — Бабушка сомлела вовсе.

Ее мечтательная душа вечной сестры милосердия с девичьих лет взлелеивалась на известной песне — «Помню, я еще молодушкой была». Молодой парень-то, мой дед, к ней подъехал и не только попросил «напоить его холодной водой», но и увел под венец, а вот седого генерала, который был бы весь израненный и жалобно стонал, она так и не дождалась. Поэтому каждый генерал остался тайной, высокой бабушкиной мечтой, которая и в старости томила ее сердечко.

— Ты дружи с ним. Бери с него пример, он плохому не научит,— сказала она.— Это не то что твой полоротый босяк Шакалов.

— Не говори глупости! — заорал я, торопясь заправить рубаху, схватить пиджак и кинуться из дому.

— Конечно, бабушка всегда глупости говорит,— обиделась бабушка, но я, не отвечая, прошмыгнул мимо.

И тут дорогу мне преградил мой малолетний братец, вылезший из кухни с деревянной саблей наголо.

— Я тоже хочу в цирк! — заблажил он.— Ты давно обещал!

— Так билетов только два всего.

— Я маленький, меня без билета пропустят.

— Маленький, но умный, да? Это же последний, решающий матч французской борьбы. Вход только по билетам!

— А-а! — заорал Вовка...

Но я уже был на улице и догонял Леху Быкова, который шел не торопясь, с любопытством разглядывая убогие домишки нашей улицы.

— Живут же люди! — не то с сожалением, не то с презрением сказал он.— Ну, как тебе шоколад наших бывших союзников?

В его голосе мне снова почудился вечный тон господина, снисходительно одаривающего своих слуг. Но слугой я уже быть не хотел.

— Ерунда, солома,— сказал я.— Наш советский лучше.

— Ты даешь! — удивился Леха.— Ты хоть понял, что он с арахисом? С орехами? В сочетании этих орехов с шоколадом и есть весь смак.

— Все равно наш лучше! И вообще я разговоров про еду не люблю, понял?

— Ладно, перестань брызгать слюной, патриот. Что опять встал? Пошли. И мы пошли через Моральский мост в центр города. Туда, где между кинотеатрами «Искра» и «Горн» (только сейчас я понимаю, как прекрасны были эти названия, какой смысл несли!), среди буйно цветущего яблоневого сквера стояло тринадцатое чудо света — наш цирк, знаменитый цирк Моего Города!

Знаменит он был прежде всего своей диковинной архитектурой и громадностью.

Этот мойгородский Колизей, парящий над мелкими по сравнению с ним каменными домами центра своим гигантским, почерневшим от дождей и снегов куполом, был полностью срублен из дерева. Рассказывают, когда

через несколько лет (нас уже в ту пору в Моем Городе не было) его признали аварийным и несущие шатер чудовищные лиственные колонны были подпилены и он рухнул со страшным громом, то пыль поднялась до неба, как при атомном взрыве, и образовавшихся в результате его падения дров хватило горкомхозу на целый отопительный сезон.

Возвели же это чудо по велению первых Советов — «искусство принадлежит народу»,— воздвигли, разумеется, без всяких чертежей — мой глаз — ватерпас! — бородатые зисимские плотники, те, что срубили во времена оны и второго деревянного нашего гиганта — Горбатый мост над рекой. Умели кое-что делать лесные зисимские кержаки!

В амфитеатре того деревянного цирка было пятьдесят рядов, и если смотреть снизу, то верхние ряды терялись во мраке поднебесья, а если сверху — то арена казалась маленькой, почти как пятак. Работавшие же под куполом на страшной высоте акробаты виделись снизу крохотными, будто муравьи...

Народу в него набивалось тьма, голодные толпы шли в цирк как на праздник, со всех концов города, и даже в злые крещенские морозы в нем, кое-как отапливаемом, было сравнительно тепло — от дыхания и тел тысяч людей, вспотевших от волнения и радости под своими шубами. Поэтому цирк работал круглый год, в нем гастролировали всегда лучшие труппы страны.

Они здесь работали еще и потому, что другие цирки, на западе, были разрушены, а дальше на восток их не было.

Это вторая причина его знаменитости.

Через двадцать пять лет, уже во времена Никулина и Олега Попова, не веря своим глазам, во всемирно известном Московском цирке на проспекте Вернадского я встретил старого знакомого, коверного, клоуна-дрессировщика Бориса Вяткина с его Манюней. Успех у него и здесь, в столице, был оглушительный, хотя он постарел, поугас как-то и собачонка Манюня была уже другая, не так шустра, весела и умна. А ведь он три сезона — и зиму, и лето,— молодой, невозможно смешной и отчаянно смелый, бузотёрил на арене нашего провинциального гиганта, воспитывая в нас главные качества человека — юмор и самостоятельность духа. И был, к слову, не основным гвоздем программы. Вершиной ее,

ее грандиозным завершением была все-таки французская борьба!

Мы, мальчишки, знали наперечет всех борцов, их силу, их любимые приемы и, конечно, их слабые места. Но были среди них два титана, у которых слабостей не существовало,— это русский богатырь, с могучим, белым как молоко телом страшной силы, Ян Цыган и негр, а может, метис, потому что темная кожа его, обтягивающая мощные сухожилия и длинные эластичные мышцы, имела явный желтоватый оттенок, король и маг двойного нельсона Ван Гут.

Они давно боролись на ковре Моего Города, но ни разу друг с другом не встречались. Они побеждали всех других, но между собой схватки избегали, сохраняя тем самым в нашем цирке волнующее сердца двоевластие. Но так не могло быть вечно! И вот сегодня они встретятся! Встретятся — и уедут. Навсегда. Уезжали не только борцы — уезжали и Борис Вяткин, и чудо-эксцентрики Диановы, и акробаты Гогоберидзе, почти вся труппа. Их ждали другие арены: страна поднималась из пепла и прежде всего, и правильно (сила, молодость, красота — жизнь!), возрождала цирк. И хотя мы привыкли ко всем артистам, но тяжелее всего, больнее всего мои земляки прощались с борцами: чуяли, похоже, что такое зрелище им больше не увидеть. И точно: профессиональная борьба вскоре ушла с цирковой арены.

Но почему? Почему? Неужели прав был Леха Быков?..

Итак, мы уселись на свой первый ряд. С наслаждением вдохнули запах зверей, конского пота, свежий, близкий запах мокрого опила, чуть оглохли от пререканий настраиваемых инструментов оркестра, единственного джаз-оркестра, сохранившегося в Моем Городе, и уставились в нетерпении на главный выход. И вот малиновые его портьеры раздвинулись, на арену величественно выступил ведущий с прямым, как у английского лорда, пробором через всю прилизанную голову и отчаянным праздничным выкриком объявил начало. Погас свет, в темноте ударил оркестр и, слепя нас, вспыхнули юпитеры. Начался парад-алле. Борцов в нем представляли Ян Цыган и гигант белорус Белявский. «Ван Гут не пошел,— услышал я чей-то шепот,— силы экономит...»

Из первых двух отделений (циркачи тогда работали на совесть, все представления состояли из трех частей, а в тот вечер, прощаясь с городом, артисты превзошли самих себя!), из всех блестящих номеров меня, да и не только, конечно, меня, поразило своим смертельным напряжением и безысходным драматизмом сюжета выступление канатоходцев.

Они, их было двое — отец лет сорока и сын, парень нашего возраста,— работали в нашем цирке с начала войны. Работали неизменно блестяще, разнообразно и, главное, рискованно, хотя риском мало кого можно было тогда удивить: все акробаты выступали без страховой сетки, по-моему, ее вообще в нашем цирке не было, и только братья и сестра Гогоберидзе в своих смертельных номерах под куполом цепляли к поясам страховочные карабины, да и то не всегда.

Но драма канатоходцев заключалась в том, что все эти годы, тяжкие и голодные, отец неумолимо старел, а сын, которого он, по ходу представления, гуляя по проволоке, носил на себе, так же неумолимо и бурно рос. И незаметное по дням это старение отца и роковое утяжеление сына должно было когда-то проявиться трагическим взрывом...

Сначала они, каждый по отдельности, показали свое дьявольское умение ходить, стоять и даже прыгать на тонкой, уходящей из-под ног проволоке. И наконец сын поднялся на плечи отца, и отец, балансируя длинным тяжелым шестом, ступил над бездной. Оркестр смолк, только одиноко и тревожно отбивал дробь барабан. Но вот и барабан замолчал — все замерли. Сын, опершись рукой о голову отца, стал медленно поднимать ноги. Отец шел, а сын медленно выпрямлялся на его голове и наконец замер на одной руке, вытянувшись свечечкой в гробовом молчании зала. И тут он произошел — давно и неумолимо нараставший взрыв: каменное обычно лицо отца исказилось, будто треснувшая от удара маска, он пошатнулся, шест-балансир резко пошел вниз и влево. Все ахнули.

Отец, постаревший и ослабевший, падал. В десятиметровую пропасть, в почти верную смерть.

Он уже, похоже, смирился с этим или потерял сознание, лишь многолетняя привычка стоять до конца держала его еще наверху.

— Папа! — на весь зал крикнул мальчик.— Папа!

И этот крик, крик родной крови, вернул отца назад. С надсадным хрипом, каким-то чудовищным напряжением воли и мышц он кинул свое тело вправо, туда же — балансир, а когда выпрямился, мгновенно переложил его назад, налево. И сделал шаг вперед. Лица на нем не было — было сплошное белое пятно с оскаленным ртом. Он сделал, из последних сил скользя по проволоке, еще шаг, а мальчик, стоя вниз головой, по-прежнему безмятежно улыбался в зал, как будто и не он кричал секунду назад...

Я закрыл глаза. И открыл, когда под вой, аплодисменты и восторженный свист зала акробаты спускались вниз. Отец снова обрел лицо, улыбаясь, он крепко прижимал к себе сына и, забыв про поклоны, нежил его глазами. И вдруг сын встал на цыпочки и поцеловал отца в морщинистую, потную и бледную щеку. Зал взвыл снова, а я, тоже сразу вдруг представивший, что вот так же из последних сил, на пределе жизни наши отцы спасали нас, своих сыновей, там, на фронте, почувствовал, что к горлу моему подступает что-то обжигающе горячее...

— Да ты что, ревешь вроде? — спросил Леха.— Вот чудак.

— Ан-тра-кт! — праздничным, освобожденным, счастливым выкриком объявил ведущий.

— Утри сопли и пошли,— сказал Леха.

— Уйди! — закричал я, но Леха, легко подняв меня, поволок по переходу.

Он по-хозяйски раздвинул бархатные малиновые портьеры, закрывающие выход, и мы вступили внутрь цирка, в его кулисы.

Через несколько секунд я пойму, что зря лез в бочку, что я и права не имел возражать своему великому другу Лехе Быкову. Сейчас он ошарашит меня пуще, чем своим генеральством, силой, пуще, чем парабеллумом даже. Я увижу своими глазами, как его знают, больше — любят! — люди, которые всю войну были для меня не людьми, а богами.

Мы прошли мимо каких-то акробатических снарядов, мимо стойл лошадей, хрумкающих овсом, мимо большого вольера, где тявкали дрессированные собачки, и Леха без стука, как старый знакомый, толкнул фанерную дверь, за которой слышались мужские голоса.

Большая комната, куда мы вошли, была полна.

Полна могучих, полуголых, в трико тел: выпуклые, огромные мышцы, крутые короткие бычьи шеи, уродливо смятые уши, маленькие, под косой бокс прически.

Мы стояли в раздевалке борцов! Борцов, готовящихся к схваткам.

— Мужики! Кто к нам пришел-то! — закричал один из них, бросая двухпудовку, с которой играл в углу. Он был самый молодой, и я сразу узнал его — Георгий (или просто Гоша, Егор) Власкин, тихоокеанский моряк, взятый в труппу сразу после войны, сильный, способный, но еще не отесанный борец.

Все повернулись к дверям, к Лехе Быкову. И Калина Урусевич, признанный третий борец, этот мрачный, толстобрюхий и беспощадный на ковре мужичище, вдруг запел тонким, по-цыганьему залихватским голоском:

— К нам приехал, к нам приехал...

— Наш Алеша дорогой! — подхватил хор, а Гоша Власкин, оттиснув Леху от меня, облапил его и вывел на середину комнаты, туда, где, сидя в единственном кресле, курил толстую сигару сам Ван Гут. Он один был в халате, может, стеснялся, но скорее всего просто не хотел выделяться среди белых тел своей коричневой кожей.

Ван Гут положил сигару в пепельницу, где, кроме нее, окурков больше не было, и раздвинул в улыбке иссиня-бледные губы.

— Здравствуй, Леша,— сказал он с сильным акцентом.— Сделал решение: французский борьба? Французский борьба — это колоссаль! Большой мир будешь ездить. Все страны увидишь, как я. Чемпионом мира будешь. Это я тебе говориль — Ван Гут!

— Спасибо, Иван Иванович,— засмеялся Леха.— Но я уж давно выбрал — бокс!

— Бокс — не мужское занятие, а детская игра! — раздалось от дверей.

Ну, вот и он появился, мой кумир. В дверях, растягивая руками перед грудью толстую резину, разогреваясь, стоял Ян Цыган, кудрявый, черноволосый, белотелый, тоже уже в трико, тоже готовый к бою.

— Как это не мужское? — взвился Леха.— Это у вас — таскаете друг друга по ковру битых полчаса, а в результате — ничья. А у нас — хук в челюсть, аппер-

кот в печень, и — кранты, сливай воду, все равно — война!

— Что? — для вида рассердился Ян Цыган.— Позорить борьбу? Спорить со мной? — сделав страшные глаза, он пошел на Леху.

Но навстречу ему огромной пантерой взмыл из своего кресла Ван Гут:

— Не трогать короший малшик! У нас свободный страна, и каждый может делать свой решение.

Он тоже играл, но сквозь игру эту, как желтый оттенок через его темную кожу, просвечивало что-то другое, серьезное и жесткое. Мне даже стало страшно. Но Ян Цыган продолжал играть.

— Уж больно ты добрый, Иван Иваныч,— он сокрушенно махнул своей могучей рукой.— Из-за таких, как ты, и гибнет французская борьба.— Это была, видно, часто повторяемая здесь шутка, потому что все дружно заржали, загоготали в дюжину мощных глоток. Черные глаза Ван Гута вспыхнули, коричневые кулаки сжались. Но в этот момент в комнате возник ведущий. Тут, среди гигантов, он вовсе не походил на английского лорда, со своим прилизанным пробором среди мощных голых затылков он был жалок.

— Пора, ребятушки, на выход! — взвизгнул он.— Ни пуха вам, ни пера!

— Иди к черту,— прогудел кто-то, и борцы один за другим вытеснились в полутемный коридор. Мы вышли за ними. И я за какими-то декорациями поймал Леху за рукав и сказал то, что должен был сказать:

— Ты прости меня, Лешка, что я возгудал сегодня и обед вам испортил. Ты, оказывается, молоток, у тебя вон какие друзья-товарищи. Извини.

— Да брось ты, Денис,— сказал Леха, беря меня за плечи.— Что за извинения? Но вообще-то нужно уметь держать себя в руках...

А на арену под победные звуки марша «Бранденбургские ворота», по-медвежьи сутулясь, длинными, но мягкими при всей тяжести тел шагами выходили борцы — их столбообразные ноги, затянутые в высокие, почти до икр чувяки-борцовки, глубоко впивались в расстеленный на арене ковер. Здесь были собраны только тяжеловесы, только знаменитости.

— Неоднократный чемпион прибалтийских стран Петер Рудис! — выкрикивал, захлебываясь, ведущий.

— Победитель спартакиады Тихоокеанского флота, восходящая звезда французской борьбы Георгий Вла-а-аскин!

— Абсолютный чемпион Армении Грант Овсепян!

— Чемпион Белоруссии, тяжелейший в мире борец Калина Урусевич!..

Когда мы под глухой ропот соседей протиснулись на свои места, ведущий представил главных сегодняшних соперников: Ван Гута и Яна Цыгана. Их имена были покрыты всеобщим ревом — так ревут сейчас трибуны стадионов, приветствуя лучших наших хоккеистов, чемпионов мира.

И борьба началась. Сегодня боролись все шесть пар, и все — до победы.

Первыми встретились самые близкие Лехины друзья: Гоша Власкин и Калина Урусевич. Конечно, Гоша был обречен, все-таки разница в тридцать кэгэ, но сперва Гоша потешил зрителей, помотал и помучил неповоротливого Калину. Быстрый и ловкий, он несколько раз бросал гиганта на ковер, но подавить, сломать его мощный мост так и не смог. Ну а потом настала очередь Калины, уставший Гоша уже не мог с тем же проворством уходить от его страшных объятий. Но Власкин, собрав последние силы, обхватил Калину под лопатки, намереваясь бросить через себя и вниз, и тут Калина применил свой любимый прием: в то время как Гоша напрягся для броска, он, упираясь, втянул в себя грудь и свой чудовищный живот, а потом вдруг ударил мокрого, ослабевшего Гошу сразу и грудью и брюшным прессом!.. Потрясенная публика ахнула, а чемпион Тихоокеанского флота отлетел на середину арены, где с необыкновенным проворством его поймал чемпион Белоруссии и, опрокинув, припечатал с победным криком лопатками к ковру.

Все, жалея Гошу, все-таки аплодировали победителю, только мой вновь обретенный друг Леха Быков как-то странно, криво усмехнулся...

Потом боролись другие. Каскады приемов, кличи победы, кряхтенье и стоны поверженных, напряженные, искаженные в страшных усилиях лица — все это слилось в оглушительный, слепящий, потрясающий душу водоворот.

Но вот снова заиграл отдохнувший оркестр, грянув «Марш тореадора». Служители в стареньких ливреях

быстро смели с ковра опил, натасканный ногами борцов. И появились — они. Пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Рефери в белом пропотевшем на лопатках и под мышками костюме дал свисток, и они сошлись.

— Ты за кого? — прошептал я.

— Какая разница? — Леха только пожал плечами.

— А я за Яна Цыгана!

— Давай, патриот,— опять странно усмехнулся Леха. Но я уже его не видел. Я — весь — был там, на ковре.

Ван Гут на голову возвышался над своим знаменитым противником и, несмотря на широкие плечи и большой вес, был тонок телом, эластичен и гибок, но не резиновой гибкостью, а гибкостью стальной пружины. Отступая, он своими длинными клешнями как бы прощупывал, присасывался к противнику. А Ян Цыган наступал открыто, почти опустив руки, словно не думая о защите. Так открыто наступал и великий боксер того времени, а может, и вообще самый великий русский боксер Николай Королев. Но в этой открытости таился обман, мгновенная готовность на прием противника ответить встречным приемом.

Так и случилось. Ван Гут, обхватив ладонями шею Яна, пошел на сближение, но тот молниеносно развернулся, и черное длинное тело взмыло в воздухе. Однако или Ян Цыган маленько просчитался, или у Ван Гута была реакция действительно пантеры, но уже в воздухе, уже падая, падая на лопатки, он успел повернуться на живот. Ян среагировал и на этот фокус: он повалился вместе, и уже в падении его руки пролезли под мышки Ван Гута и, когда они оба очутились на полу, белые пальцы страшным замком сошлись на черном загривке.

Обмерший зал, который, как я, болел, понятно, за Яна Цыгана, подняло, как ветром. Двойной нельсон! Все. Крышка несокрушимому негру.

Я орал, не помня себя. Но что это? Черная, коротко стриженная голова ушла в плечи, шея исчезла, широченные плечи вдруг сузились, и Ван Гут выскользнул из замка Яна Цыгана, как змея из ненужной кожи...

И они снова стояли друг против друга. Улыбаясь, как вначале. Только дышали чаще. И в глазах у них горел огонь уже нешуточной злобы.

Они ломали, они кидали (кидал в основном Цыган, Гут, защищаясь, уходил), они ловили друг друга пять, десять, пятнадцать минут. Хитрый негр явно выжидал. И дождался... На семнадцатой минуте Ван Гут в который раз увильнул от приема, не на шутку разозлившийся Ян с маху упал сам, на секунду замешкался в партере, и теперь уже черные пальцы сошлись замком на белом загривке. И Ван Гут закричал. Не по-русски, победно, торжествующе.

Конечно, Ян Цыган был сильнее, даже техничнее своего соперника. Но двойной нельсон Ван Гута считался самым страшным: никто еще не уходил из него, не проиграв, не сдавшись. Это была мертвая хватка, хватка бульдога — стальная пружина сработала, замкнулась...

Ян Цыган катался по ковру, мотал на себе черное тело, но тщетно — железные черные тиски на его шее не разжимались, наоборот, они все сильнее и сильнее давили курчавую голову к белой волосатой груди. Ян Цыган задыхался.

Зал молча и обреченно стоял, ожидая неизбежного конца.

Но тогда, когда казалось, что все кончено, Ян Цыган встал, сперва на колени, потом, оттолкнувшись ладонями, вздыбился в полный рост, подняв вместе с собой и висящее на нем тело противника, вскинул, будто молясь, вверх руки и вдруг обрушил резким ударом их могучие бицепсы на черные локти. Раздался хлюпающий хлопок, стон, и черные пальцы на белой шее — разжались. Ван Гут упал на колени, а освобожденный Ян Цыган стремительно повернулся и, прихватив его руку, кинул Ван Гута через голову. В этот раз Ван Гуту, еще, видно, не очнувшемуся и жившему в предвкушении победы, реакция изменила, он не успел сгруппироваться и рухнул прямо на спину, попытался было взмыть в мост, но поздно — Ян Цыган могучим рывком прилепил к ковру его лопатки.

Так жутко, мгновенно и счастливо все завершилось.

Рефери взмахнул рукой и дал три свистка.

Финита! Амба! Конец!

Я не видел и не слышал, что творилось в зале,— я опять ревел. От счастья. Будто сам победил этого страшного, несокрушимого негра. А рефери между тем

поднял вверх усталую руку Яна Цыгана, у которого не было сил даже на улыбку...

— По-бе-да! — вместе со всеми надсажался я...

Мы вышли с Лехой из цирка, когда только что повешенные у кинотеатра «Горн» первые в Моем Городе электрические часы показывали час ночи.

— Большое спасибо тебе, Быков,— сказал я.— Этого я никогда не забуду.

— Чего этого? — не понял он.

— Как чего! Цирка. Борьбы. Последней схватки.

— Да ну тебя! — Леха шагал, посвистывая и задрав голову.

А я все еще был там, на ковре. Вот такие минуты, минуты наивысшего напряжения, борьбы на пределе возможностей, даже пережитые не самим, а вчуже — глазами, сердцем! — и делают человека человеком. Формируя его, остаются с ним на всю жизнь.

— Слушай, а как он сумел встать?

— Кто он? — опять не понял Леха.

— Ну, Ян Цыган. В конце. Откуда у него силы взялись?.. Нет! Он величайший борец!

— Величайший циркач,— усмехнулся Леха.

Мне давно не нравилась эта ухмылка, еще в цирке, и, хоть я снова был в его власти, я возразил:

— Не циркач! А боец. Воин, если хочешь!

— Ха-ха-ха! — засмеялся Леха и повторил: — Все они циркачи и клоуны.

— Да ты что? — я остолбенел.— Ты думай, что говоришь.

— А что мне думать, я знаю. Я этих чудо-богатырей как облупленных знаю. Ты видел, как они меня встретили?

— Видел... Но это не дает тебе права...

— Дает.— Леха остановился.

Мы стояли под фонарем у входа на Моральский мост. Я во все глаза смотрел на Леху, словно впервые его узнавал. Маленькие материны глазки, большой, тоже от матери, нос, тяжелый, видно отцовский, лезущий вперед подбородок себялюбца и упрямца. До чего скучная рожа!

— Дает,— сказал Леха.— Ты думаешь, они на одну цирковую зарплату живут? Да с нее они бы давно зачахли. Они же днем подрабатывают на разгрузке-погрузке. Сила есть — ума не надо! Особенно в «Воен-

торге», у матери моей, любят ишачить — матушка их лучшими продуктами отоваривает. Там на складе я с ними и познакомился.

— Ну и что? — не сдавался я.— Тот же писатель Куприн и борцом, и грузчиком работал. Что тут позорного?

— Позорного тут то, что они туфту лепят,— лениво растягивая слова, сказал Леха.— Они там же, на складе, и договариваются, кто кого сегодня победит. У них заранее все мити-мити, а ты, наивняк, кричишь, веришь. За чистую монету принимаешь. Они тут от армии сачковали. Все равно — война, понял?

Что-то оборвалось в моей похолодевшей душе.

— И схватка с Яном Цыганом Ван Гута тоже мити-мити?! Тоже туфта?

— Конечно. Она-то в первую очередь. Кто это тебе допустит, чтоб на прощание победил Ван Гут, настроение испортил? Поэтому — да здравствует непобедимый русский борец Ян Цыган!

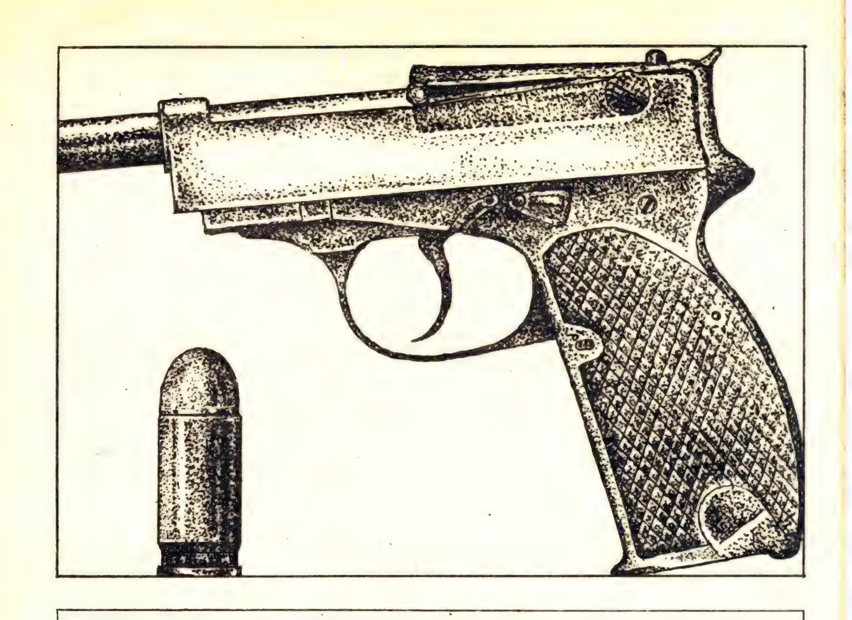
— Гад ты,— сказал я и, чтоб Леха не видел моих новых жутких слез, бросился бежать. Но не мог я убежать так просто, с опустошенной, разорванной душой, я должен был хоть криком, хоть оскорблениями спасти ее, и, взбежав на Моральскую гору, я унял слезы и крикнул Лехе, все так же освещенно стоящему под фонарем:

— Гад ты последний! Малохольное ты чучело! Дурак неверующий! Войной контуженный!

В ответ раздался хохот и крик:

— Топай домой, салага! А то уши нарву... Пока они горячие...

На другое утро я пересел к Леньке Шакалу.



4.

Между тем приближались экзамены.

Вообще-то к экзаменам нам было не привыкать: мы их сдавали начиная с четвертого класса. Но раньше — только по основным предметам, нынче, в седьмом выпускном, нас ждали испытания чуть не по всему: литература, русский — письменно и устно, геометрия, алгебра — письменно и устно, физика, химия, немецкий...— двенадцать экзаменов!

«Несчастные, — пожалеют нас сегодняшние ученики и педагоги.— Ненужные перегрузки».

— Счастливые,— отвечу я.— Необходимые перегрузки!

Это те перегрузки, от которых, как в спорте, человек становится крепче. Крепче, организованней делается его мозг.

Мне снова возразят: «Наверное, тогда, в ваше элементарное время, такие экзамены были возможны. Но

нужны ли, возможны ли они сейчас, когда так невиданно взбурлил поток информации? Под силу ли это ученикам?»

Под силу. Временное умственное перенапряжение, концентрация всех сил нужны, чтобы ребенок, а потом юноша был готов к более сложным испытаниям — на аттестат зрелости, в техникумах, в вузах. Всю жизнь!.. Ранние экзамены нужны именно сейчас, чтоб растущий человек не захлебнулся в этом самом информационном потоке, чтоб он особенно крепко знал основы всех предметов. Они нужны и в моральном плане: только сдав экзамены, успешно завершив труд, можно испытать по-настоящему праздник окончания учебного года. Но что это за праздник, что за счастье, коли тебя отпускают на каникулы, на целых три месяца, просто помахав тебе ручкой? Не проверив, способен ли ты на большее, не узнав, каким ты уходишь в старший класс?

...Несчастным исключением, испытывающим перед грядущими экзаменами не просто испуг, а панический ужас, был мой старый новый сосед по парте и душевный друг Шакалов Леонид Дормидонтович.

— Здорово, Ленька,— сказал я.— Пустишь на фатеру?

— Садись,— удивленно пробурчал он.— Парта не моя, казенная.

Больше он ничего не сказал, все четыре часа просидел молча, шмыгая носом и что-то черкая в одной, на все предметы, вконец разлохмаченной, знаменитой своей тетради: «немец» Василий Александрович звал ее, по Пушкину, собранием «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». В шутку, понятно, потому что там, кроме обрывков нерешенных задач, недописанных упражнений и каких-то диких рисунков, никаких «замет» не было.

С двух последних уроков, с военного дела, мы с Ленькой умотали: надоел нам Юрка-Палка за год своей шагистикой.

— Пусть генерал Быков марширует, ему надо,— сказал я.— А мне это ружье скоро шею перетрет.

— Мне тоже,— сказал Ленька.

Мы двинули нашей старой дорожкой через Зыйский сад к его дому, и тут, под сенью древних, демидовских еще лиственниц, Ленька наконец заговорил.

— Слышь, Денис, а ты навовсе ко мне перешел? Али

временно, пока с охломоном своим военторговским не помиришься? А?

— Та-ак,— сделал я суровый вид.— Завтра же передам Быкову, как ты его величаешь.

— Передавай,— уныло сказал Ленька.— Я не боюсь. Я счас ниче не боюсь, окромя экзаменов. Как вспомню, какую прорву надо сдавать, так живот болеть начинает, есть даже неохота... Нет, не стану я. Допрежь на завод уйду. К станку.

— На завод ты уйдешь,— сказал я уже серьезно.— Но «допрежь» экзамены сдашь, свидетельство получишь... Совсем я к тебе вернулся. Вместе готовиться станем. Если ты, ясно, захочешь. Прямо с сегодняшнего дня. И начнем с алгебры. А то, я видел, ты даже в степень возводить разучился.

— А я и не умел! — возликовал Ленька.— Значит, полаялся ты со своей орясиной? Я ведь знал, что все равно так будет. Угнетатель он, паразит!

— Ладно, кончай ругаться, труженик из чашки ложкой,— сказал я.— Поворачивай оглобли. Пойдем ко мне. Но Ленька вдруг встал.

— А может, зряшное это дело? Не в коня корм?

— Пошли, тебе говорят! Терпение и труд все перетрут.

С этой прописной истины и начали мы с Леонидом Дормидонтовичем подготовку к экзаменам. И — кончилось мое одиночество. Я снова стал кому-то нужен. Снова была рядом родственная душа, с которой можно было и помолчать, и поругаться, и излить душу. Мы занимались с Ленькой каждый день, так что Шолохова — за это время пришли остальные тома «Тихого Дона» — я мог читать только ночью, а днем, во время перекуров, пересказывал его Леньке, который слушал, разинув рот...

Леха же Быков сидел один, сидел с безразличным, скучающим лицом, и классные делишки ему, как и прежде, были до лампочки. Хотя власти своей он не выпускал, врезал тому, кто попадется, даже чаще, чем раньше. Особенно доставалось от него крикливым Борьке Петухову и Ваньше Хрубиле. И другу моему Шакалу он раз походя сунул под дых, так что тот с минуту, наверное, хватал впустую воздух, пока не продышался. Не трогал он только меня, но и не замечал, насквозь смотрел, будто меня и не было.

В классе стало еще скучней и молчаливей, хоть не ходи в школу. Но вот все кончилось. Пришло 20 мая, а с ним первый экзамен.

Изложение.

Сейчас в выпускном восьмом классе шагнули дальше — сочинение пишут! В прошлом году мой сын тоже писал: из трех тем — о моральном облике, о будущей профессии, об Отечественной войне — выбрал последнюю. Войну, конечно, мы забывать не должны, но где же литература? Великая русская литература? Ведь именно в восьмом они проходят Радищева и Пушкина, Лермонтова и Гоголя! Нету литературы!

Мы не были семи пядей во лбу, но русскую литературу немного знали — это точно. А разве воспитание души менее важно, чем воспитание ума?.. То изложение мы писали по Гоголю, из «Тараса Бульбы». Отрывок о русском товариществе и казнь Тараса, соединенные в один кусок.

«Нет уз святее товарищества!..»

Я написал первым. В каком-то полубреду, еще не очнувшись от гоголевского текста, проверил «труд» Шакала. Чтоб не вертелся, Екатерина Захаровна велела собрать мне работы: отведенные на экзамен два часа кончились.

К последнему, видя, что он еще пишет, я подошел к Лехе Быкову. Он поставил точку и пододвинул ко мне раскрытые листки, я глянул в конец и ахнул: трубку, которую потерял Тарас, он написал через «п», а прощальную, с костра, речь старого полковника пустил сплошняком с другим текстом, не выделив ее никакими знаками.

— Ты хоть проверь,— прошептал я, вновь чувствуя узы товарищества.— Жаба подождет. Хоть «трупку» исправь!

— Катись отсюда, грамотей,— ответил он.— Четверка все равно будет. Ясно?

«Ясно. Куда Жаба денется, если вы ее ворованной жратвой за горло взяли?» — со злобой думал я, топая к кафедре...

Отметки за изложение Жаба объявила на другой день, на консультации по литературе. Я схлопотал четверку. Шакал, слава богу, выполз на троечку. Пятерка была одна — у первого ученика Сереги Часкидова. Этот красивый настырный парнишка вроде и памятью не

блистал, не то что наши гении Борька Парфен и Борька Петух, но учился легко, счастливо, хотя и за учебниками не пропадал, не зубрил как окаянный, до полуночи гонял футбол на своей Пароходной улице, а пятерки сыпались на него, будто с неба. Счастливая, видно, у человека была планида!

Но я, замерев душой, ждал оценки Быкова. Однако Жаба, промолчав о ней, стала раздавать работы.

— А Быкову чо? — крикнул Борька Петухов, рискуя получить от него очередной подзатыльник.

Екатерина Захаровна остановилась, побледнела еще больше своим измученным лицом, похоже, всю ночь не спала, разбирая наши каракули.

— Быкову? А разве я не сказала? Он получил тройку. Много ошибок.

Ай да Жаба! Ай да Екатерина Захаровна Сибирякова! Не струсила, не продалась за американскую тушенку. Мо-ло-дец! Ну что, съел, Леха Быков?

Но Леха не шелохнулся. Ошибки свои смотреть не стал. Сидел себе, безразлично глядя в окно: там на полянке военрук Юрка-Палка бился с пятиклассниками в футбол...

Так же, еле-еле душа в теле, на уровне моего одуревшего от зубрежки Шакала («У меня, Дениска, эти формулы из ушей торчат,— ревел он,— спать мешают».) сдал Алексей Быков и другие экзамены. «Хило, товарищ генерал, весьма хило». И только по химии Аделька-Сарделька нарисовала ему крупную пятерку, а последний экзамен, который нас ждал,— история, он, конечно, сдаст с блеском. Знает. Да и красавица Марина Обрезкова, это теперь все видели, была от него без ума.

Но последнюю свою консультацию Марина Матвеевна начала не с истории: она все еще оставалась общественной пионервожатой и вела культурно-массовую работу.

— Сегодня в нашем городе открывается летний театральный сезон,— объявила она.— Опера Верди «Травиата».

...Нет, не война сформировала нас,— уверенно утверждаю я сейчас, вспоминая те далекие годы.— Не только война! Конечно, она преподала нам большой, тяжкий и горький урок на всю жизнь. Но человеческое формирование, рождение души нашей, моей уж точно, стояло на трех китах: книгах, школе и опере. Даже

цирк, с его Борисом Вяткиным, Кио и борцами, не сделал меня человеком больше, чем Свердловская опера.

В лютые январские морозы, в душные летние вечера моя мама, совсем не понимающая в музыке, но понимающая в воспитании, усталая после работы, голодная, как я, водила меня в оперу. Странно, но у меня не было, как у толстовской Наташи, непонимания — сперва было удивление, потом восторг и боль, потому что все оперы кончались трагически. Но это была боль очищения, счастливая боль, и уж я сам, только увидев афиши о приезде оперного театра, клянчил деньги и бежал за билетами.

Опера больше гастролировала летом, и спектакли шли в городском парке, в старом скрипучем летнем театре, названном так по недоразумению: он больше походил на обыкновенный сарай или, в лучшем случае, ангар для допотопных аэропланов.

И тут, на маленькой сцене с неглубокой оркестровой ямой — видны были даже головы музыкантов, почему-то сплошь лысые,— я впервые услышал «Русалку» и «Дубровского», «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова»... Тут со скалы, где сквозь зеленый тюль жалко просвечивал деревянный остов декораций, надменный Демон в крылатом своем одеянии, черном и поношенном, умолял Тамару громовым басом артиста Соколова: «Не плачь, дитя! Не плачь напрасно...» Но смятенная Тамара плакала, и я ревел в душе вместе с ней. Тут тот же Демон кидал в зал свое презрительное: «Что люди? Что их жизнь и труд? Они прошли, они пройдут...», и я вдруг с ужасом впервые понимал, что прекрасная, казавшаяся мне тогда бесконечной, жизнь моя тоже скоро пройдет, и дыхание смерти касалось меня.

Ибо все оперы, которые я слушал, кончались смертью. Или несли смерть.

Может быть, поэтому драматические спектакли, а их тогда мы тоже смотрели немало, в войну у нас работал приезжий драмтеатр, стерлись в моей памяти. А оперы живут и будут жить всегда, и достаточно мне услышать начало знакомой арии, как я вспоминаю и музыку, и слова. Вспоминаю старый, черный, скрипучий сарай, пропахший прошлогодними листьями, свежей сиренью и ветром, дующим с пруда, вспоминаю полутемную маленькую сцену, на которой разыгрывалось волшебное действо. И больше всего — да простят меня великие рус-

ские композиторы! — я любил две иностранные оперы: суровую «Кармен» и сладко-печальную «Травиату». Мою младую душу, жаждущую любви, они резали больше всего...

— На «Травиату» есть билеты,— сказала моя тайная любовь Марина Матвеевна.— Подходите записываться. Деньги можно принести завтра, на экзамен.

Деньги я мог отдать сегодня. И не на один, а на целых два билета: пятерка бабушкина у меня осталась от цирка, еще пятерку мне дала на окончание экзаменов мама, расщедрившись с премии.

— Пойдем, Ленька! — жарко зашептал я.

— А учить кто будет? — резонно возразил он.

— Держите меня — он ученый! — изумился я. — Мы же с тобой два дня долбили, хватит. Перед смертью не надышишься. А оперу ты когда услышишь?

— Оперу? — Леха вытаращил свои голубые шары.— Это там, где поют всю дорогу, воют, как под ножом?.. Меня брат старший еще до войны туда таскал, да я ни хрена не понял, уснул посередке. Нет. Я лучше про оппортунистов всех мастей еще раз повторю.

— Слушай, Пылаев,— повернулся на наш разговор сидящий впереди Серега Часкидов,— возьми на меня, только подальше. Деньги завтра отдам...

Так мы очутились в этот нежный и теплый июньский вечер на последнем ряду нашего летнего театра. А в первом ряду — я их сразу увидел: заметная пара! — сидела Марина Обрезкова, совершенно неотразимая, в легком крепдешиновом, впервые надетом платье, и подтянутый, строгий, тоже впервые при галстуке Леха Быков. В перерывах они гуляли по аллее вдоль пруда, ясно, не под руку — все-таки учительница и ученик! А перед началом каждого действия Марина Матвеевна близко склонялась к своему соседу и что-то шептала ему... Ревновал ли я их, завидовал ли? Нет. Мне просто было грустно, больно до тоски, под стать музыке, бьющейся в старых деревянных стенах.

Марина Обрезкова что-то шептала Лехе Быкову, а тот нетерпеливо оглядывался. Словно искал кого-то. И — нашел.

После третьего антракта наша прекрасная историчка вернулась на свое место одна, а Леха подошел к нам с Серегой Часкидовым, одиноко и свободно сидящим на последнем ряду.

— А ну, сыпь отсюда, отличник! — приказал он.
— Тебе что, места мало? — огрызнулся Серега.— Садись, куда хочешь.
— Я сюда хочу,— Леха приподнял Серегу за худые плечи, поставил на ноги и дал по шее так, что тот полетел по уходящему вниз, к сцене, полу.— И на двадцать шагов не подходи,— послал ему вслед.— Понял, краса и гордость класса?
В это время потух свет, Серега где-то потерялся в темноте, а я спросил, хоть уже понял, что Быков искал меня неспроста — бить или мириться? — спросил со злым вызовом:
— Ты совсем озверел, Быков?
— А если он с одного раза не понимает! — Леха сел, ослабил надоевший, непривычный ему галстук.— Ну, как живешь, Денис?
— Хорошо, чего и тебе желаю.
— Кретинов, вижу, нянчишь?.. Добрый ты. Добренький и глупый, как страус.— Леха усмехнулся.— Не любишь правду-то? Прячешься от нее. А жизнь — это война, и побеждает сильнейший. Так говорит моя матушка. Она хоть и дура, но иногда выдает умные мысли. Война и обман.
— Как в цирке?
— Как в цирке.
— Врешь ты все! — уже не сдерживая себя — будь что будет! — закричал я.— Твоя правда и есть первая ложь. Ложь, обман, грязь и зло! Как можно с этим жить?
— А страусом можно?..
С передних рядов на нас зашикали — тихо вступил оркестр, поднялся источенный временем и парковыми мышами занавес, и на сцене, освещенной всего двумя прожекторами, слева и справа, возникла на своей качалке умирающая Виолетта. Мы примолкли, но, когда Виолетта начала свою последнюю арию, Леха снова заговорил, правда, тише:
— Значит, я зло? Злыдень... А кто вас конфетами кормил, чьи вы всем классом папиросы зобали?.. Это сейчас, когда мне плохо, бывает, не сдержусь, влуплю кому-нибудь просто так. А раньше-то я вас бил?
— Слушай, замолчи,— попросил я.— Иди к своей Обрезковой.
— Да ну ее. Билет мне всучила. А я и не знал, что рядом. Я из-за тебя пришел.

— А я из-за Верди. Дай послушать.

— Дам. Но сперва ответь все-таки: добрый я или злой?

— Не знаю. В общем-то добрый. Но без души. Как сказал один человек, ты угнетатель по натуре. Но даже добрый тиран — это тиран.

— А хочешь, я тебе сейчас врежу за эти слова? Хотя мне и чихать, что вы обо мне думаете.

— Врежь. Но, значит, это не я, а ты правды не любишь... И вообще, если ты меня бить пришел, бей, но после спектакля, я не убегу. А если мириться — пустые хлопоты.

— Ты все сказал, Пылаев?

— Все, Быков.

Мы опять замолчали. На сцену, как на крыльях, влетел раскаявшийся и счастливый Альфред Жермон, больная поднялась ему навстречу, и теперь они уже вдвоем, Альфред и воскресшая Виолетта, вознесли во мрак уходящей ввысь деревянной крыши, как в небо, поддержанное стропилами, свою ликующую песнь вновь обретенной любви. Это был прекрасный дуэт звезд первой величины: Китаевой и Даутова, это была прекрасная музыка!.. И я забыл и о Лехе Быкове, и о Сережке Часкидове, и даже вечная, точившая меня мысль о недоступной Марине Обрезковой растаяла, исчезла. Я вместе с музыкой унесся в тот «далекий чудный край», где снова счастливы своей любовью эти прекрасные люди. Меня вернул назад голос Быкова:

— Ты глухой, что ли?

— А?

— Чем, спрашиваю, закончится эта бодяга?

— Что?

— Чем эта бодяга закончится, говорю?

Наконец-то я понял.

— Плохо закончится. Это же опера. Умрет она.

— Не дам помереть,— сказал Леха.— Не люблю несчастных концов. Расстраиваюсь сильно.

Он сделал движение рукой вниз, в карман галифе, потом медленно поднял ее — в полумраке сверкнуло черными бликами знакомое тело парабеллума... Давненько я уж его не видал! Как сошли снега и дорогу на Голый Камень, на наше стрельбище, развезло, прекратили мы «огневую подготовку». Да и приелась она, однако, надоела. А потом пришло Первое мая, цирк, ссора... И вот парабеллум снова возник из небытия.

— Что ты хочешь делать? — испугался я.

— Кончать эту бодягу,— Леха спокойно отвел предохранитель.— Не терплю трагедий. Я же добрый.

Он вскинул пистолет на уровень глаз и, почти не целясь, выстрелил в два громоздких, хорошо видных прожектора. Два раза — влево и вправо. Раздался звон стекла, свет потух, а вместо враз оборвавшейся музыки возник из зала протяжный и страшный женский визг.

И тут я почувствовал, что парабеллум лежит в моей руке.

— Беги, Денис, беги! — толкнул меня Леха.— Жди под Новым мостом. Я тебя тут прикрою.

Я зажмурил глаза и уже было разжал руку, чтоб освободить ее от жгущего ладонь металла. Но не разжал — сознание сработало мгновенно: сейчас вспыхнет яркий электрический свет и все увидят нас, лежащий на полу пистолет и поймут, что это стреляли мы. Потом — милиция, допрос. Леха, конечно, с помощью матери отбрешется, а мне конец. Колония... Я открыл глаза и в темноте, все еще стоящей в зале, увидел вдруг плачущую маму, трясущуюся от горя бабушку...

И я рванулся, в два прыжка подскочил к двери, с громом сбил длинный крюк и, выскочив в ночную прохладу парка, кинулся бежать. Но не через главный вход, где вечно торчат милиционеры, которые, услышав выстрелы, конечно, уже всполошились и торопятся сюда. Я обогнул летний театр и перемахнул, разодрав в мотне новые свои штаны, через невысокий здесь забор.

Я бежал не чуя ног Красноармейской улицей, самой длинной в Моем Городе, бежал мимо молчаливых темных домов, мимо шарахавшихся от меня прохожих. Бежал, прижимая под рубашкой прямо к голому телу по-змеиному холодный пистолет.

Я бежал... и очнулся только, сорвавшись по откосу под Новый мост, где успел зацепиться за мокрую сваю, а то бы свалился в грязную, вонючую воду нашей реки.

Я ухватился за сваю обеими руками — пистолет выпал из-под рубашки, пополз по слизи берега вниз. Но у самой воды застрял. Мне достаточно было двинуть ногой, и река унесла бы его к чертям собачьим, как Дон винтовку Гришки Мелехова. Но я не мог этого сделать: не моя железка. Я сел на мокрую землю, поднял парабеллум и, не обтирая, бросил рядом —

ненавидел я его сейчас, как последнее дерьмо. Это я-то, еще год назад отдавший бы все за настоящее, пусть маломальское, но боевое оружие! Видно, перегорела война и в моей душе, кончилась — вырос я...

Лехи не было долго.

Я сидел под мостом, куда до войны и еще в первое ее лето мы бегали купаться. Даже не купаться, купаться мы могли и на своем Зыйковском пруду,— тут, в прозрачных струях, особенно быстрых среди свай, хорошо было играть в догоняшки, в «ляпы». Вцепишься руками в сваю и уходишь по ней в воду на два-три-четыре метра, до самого песчаного дна, а там переплываешь к другой свае и по ней вылетаешь на поверхность — попробуй догони!.. А сейчас никто не купался в нашей знаменитой реке. Знаменитой потому, что когда-то Ермак плыл по ней открывать Сибирь. Нельзя было в ней купаться теперь: заводы отравили, забили ее смолой, мазутом, брошенной резиной и железом, погубили за какие-то год-два, если не навечно, то лет на пятьдесят — сто, это точно. Я мог бы сравнить жизнь человеческую, свою тоже, с этой рекой: один-два черных поступка навсегда ее, доселе чистую, замутят, загрязнят, до дна черной сделают — век не отмоешься! Но я не сравнивал, я думал о человеке, которого ждал.

Почему он стрелял? Может, хотел, как говорят урки, «повязать» меня, чтобы я никуда уже больше не делся от его подлой скучной дружбы?.. Вряд ли... Зачем я ему? Он слишком равнодушный ко всему, кроме себя. Просто привык делать, что его левая нога захочет. Захочет есть — возьмет тушенки, захочет стрелять — возьмет пистолет, захочет дружить — возьмет меня. Захочет любить — тоже подходящую игрушку найдет. Он, хоть и толковал сейчас про жизнь, вроде и не жил и не живет вовсе. Вроде до сих пор спит, будто и не рождался: ведь только во сне бывает все возможно!.. Что ж, надо будить гусара. Пора... Вот оперу жалко не дал доглядеть, гад такой!

Я поднялся, отряхнул порванные, вымокшие сзади штаны.

Уже рассвело. Где-то за Красным Камнем, нагромождением скал, нависшим над рекой, вставало солнце, окрашивая небо в розовый цвет. Темная, согретая заводскими горячими испражнениями река была теп-

лее воздуха, заметно остывшего к утру, и над ней, затягивая тот берег, начал подниматься вонючий, грязный туман.

Я не мог больше ждать: дома мать с бабкой и так переполошились, не спят, да еще за новые штаны отвечать придется. Надо идти. И, оставив пистолет на земле, я полез вверх. На волю. Подальше от мокрых свай, вонючей реки и грязного тумана. И, уже поднявшись, вставая на ноги, услышал стук по мостовой подковок бегущих Лехиных сапог.

— Где пушка? — спросил он, задохнувшись.

— Там, под мостом,— сказал я,— спустишься — увидишь.

— А я влип! — Леха сорвал галстук.— В милицию таскали, шмон устроили. Фамилию, адрес, школу — все в протокол. Как бы завтра с обыском не нагрянули.— Он полез вниз.— Ты что, уронил его?.. А почему не обтер?

— Сам оботрешь. Я вообще хотел утопить это дерьмо.

— Что? Я б тебя самого утопил.— Леха, стоя внизу, сорванным галстуком вытирал парабеллум. Вытер, швырнул гластук в воду, подбросил пистолет на ладони, любуясь им.— Придется тебя спрятать до лучших времен, дружище... Подожди меня, Денис!

— Отстань! — Я сделал несколько шагов по мосту, который назывался Новым, потому что был построен позднее Моральского, уже на моей памяти, но сейчас сравнялся с ним и чернотой перил, и измочаленностью бревен проезжей части.— Слушай! — я остановился и, перегнувшись с перил, сказал то, что должен был сказать сразу: — Завтра мы тебя бить будем, Быков.

— Дядя шутит? — снизу спросил он.

— Нет, серьезно.

— Значит, как князь Святослав? «Иду на вы»? — спросил он, знаток истории.— А где и когда?

— На выпускном вечере. Только не смойся. Не струсь.

— Не струшу.

— Пока.

— Пока.

Утром, еле дождавшись, когда бабушка зашьет мне штаны, и клятвенно пообещав ей, что впредь буду при-

ходить домой вовремя и целехонький, я побежал на Пароходную улицу. К Борьке Петуху.

У того уже были гости. Вместе с ним нежились на полянке перед петуховским домом его сосед, мой вчерашний товарищ по театру Серега Часкидов и вечный Борькин соперник в спорах Борька Парфен — уже высоко взобравшееся солнце дробилось на осколки в линзах его очков. Ребята валялись навзничь, бездумно и молча пуская в чистое небо едучий дым самосада. В их сибаритских позах чувствовался конец экзаменов: учебник истории СССР забыто лежал на завалинке.

— Здорово, лодыри,— сказал я.— Надо Леху Быкова бить. Пора.— Ребята дружно повернулись на животы.

— Крови возжаждал, Пылаев? — спросил Петух, и они засмеялись.— Или справедливости?

— А если всерьез — кто вчера стрелял? — Серега Часкидов вдавил в землю цигарку.— Он?

— Это, Серый, к делу не относится! — снова крикнул я.— Знаю точно, что оружия у него сегодня не будет. Ну, согласны?

— Мы давно согласны,— Борька встал на одно колено.— Да ты между ног мешался... Однако справимся? Силенок-то хватит? Он вон какой бугай.

— Всем классом-то?

— Легко сказать, всем классом. Котлярова, Шевкуна и прочую мелюзгу можно сразу вычеркнуть, твоего придурка Шакала туда же. Ты, Парфен, тоже не воин: очки потеряешь, своих сослепу перебьешь.

— Индифферентного стоика,— вмешался Сергей Часкидов (ему к тому времени начальники-родители купили «Словарь иностранных слов», и он начал щеголять ими),— стоика Альберта Далина тоже можешь вычеркнуть. И великого скрипача Рублика-Паганини тоже.

— А ты над Рубликом не смейся. При его упорстве из него и верно может что-нибудь знаменитое вылупиться,— возразил Борька Парфен.

— Опять спорить начали,— перебил их Борька Петух.— О деле давай. Будем считать активные штыки. Я — раз...

И Борька Петух загнул первый свой большой, разбитый при делании гробов палец.



5.

Наш выпускной вечер начался в восемь часов.

Сперва всех насмешил Широчайший — Василий Александрович, председатель экзаменационной комиссии.

— Попрошу снять головные уборы,— сказал он.

Все заулыбались и уставились на меня — я схватился за голову: на ней забыто торчала солдатская пилотка.

— И вернуть хозяину! — Василий Александрович, сверкнув очками, прочитал гробовым голосом, опять из Пушкина: «Ужасный век, ужасные сердца!»

Улыбки сменил дружный хохот: дело в том, что «хозяином» этой пилотки был наш школьный скелет, учебное пособие по имени Федя. Он стоял в каменной части школы, в зоологическом кабинете, высокий крупный мужчина, желто блестя отполированными костями и нагло улыбаясь своими здоровенными, один к одному зубами.

Заходя в кабинет перед уроками биологии, Борька Петух обычно тряс его длинную кисть: «Здорово, Федя»,— на что скелет отвечал тихим приветливым звоном своих костей. А однажды кто-то напялил на него эту пилотку. Наша одноногая биологиня Клавдия Ивановна сорвала ее и выбросила, один раз даже в форточку, но пилотка каким-то неведомым образом упрямо возвращалась на голый череп, придавая Феде уморительно боевой вид.

Потом Клавдия Ивановна, приняв шутку, привыкла к Фединой пилотке и снимала ее только, объясняя строение черепа.

И вот сегодня, скитаясь перед вечером по школе, я забрел в зоокабинет и примерил Федину пилотку — она оказалась мне как раз. Из стекла шкафа с заспиртованными глистами, змеями и человеческим эмбрионом (да, человек в этом кабинете был представлен от плода до скелета, от рождения до смерти!) на меня глянуло не мое, а будто чужое — с заострившимися скулами лицо, с большими тревожными темными глазами, повзрослевшее под пилоткой. Лицо солдата. В это время раздался звонок, собирающий всех в коридор деревянного здания, который служил нам вместо актового зала, и я, забыв о пилотке, прямо в ней сбежал вниз...

А сейчас все хохотали, даже Леха Быков — вот нервы! — улыбался. А может, он не принял всерьез моей угрозы? Тем лучше...

Я сорвал пилотку и сунул ее в карман.

На сцену вышел наш директор Виктор Иванович.

— Семь лет назад,— сказал Витя,— я вас несмышлеными детьми принял из рук родителей. За два года до начала войны. А потом пришла она. Вы голодали и холодали...— На обычно бледных щеках нашего директора выступил чахоточный румянец.— Но держались — и выдержали. Не удалось Гитлеру ни армию нашу победить, ни даже детей наших. Честь вам и хвала, друзья мои! А сегодня вы получаете свидетельства, первую путевку в жизнь.— Витя помолчал, видать, перехватило дыхание, потом взял из стопки на столе верхний лист.— Сергей Часкидов! Свидетельство с отличием!

Серега Часкидов вскочил на сцену.

— Ну, Серый,— улыбнулся Витя,— сколько я тебя раз из школы исключал? Четыре?

— Нет, пять,— ответил Серега.— Спасибо, что в ше-

стой и последний раз не исключили. Большое спасибо вам всем!

Заулыбались и захлопали на сцене и в зале — хороший был парень Серега Часкидов!

После выдачи свидетельств — свернув в трубочки, мы рассовали их кто куда — нас поздравили Василий Александрович и Екатерина Захаровна. Слава богу, что Адельки-Сардельки не было: она бы развела тут лицемерную говорильню, все бы испортила. Неужели Витя наконец от нее избавился?

А потом начался концерт.

Первыми, как всегда, выступили славные представители Пароходной улицы Борька Петух и Серега Часкидов. Наши народные артисты. Народные потому, что со своей «Хирургией» (инсценировка чеховского рассказа) они обошли все рабочие клубы и военные госпитали. Но или они заиграли свою комедь, или тоже сказалось волнение от предстоящей битвы — выступили без обычного уморительного блеска. Серый, игравший фельдшера-зубодрала, вдруг беспричинно замирал со своими страшными щипцами, не зная, что делать, а Петух (что с ним, с его сумасшедшей памятью сроду не бывало) вдруг забыл чеховский текст и понес отсебятину.

Куда больше насмешил нас второй номер, хотя, по идее, он был совершенно серьезен.

На сцену забрались наши недомерки, бывший вшиварь Юрка Котляров и вечно сонный Ванька Шевкун. Они встали рядом, глянули друг на дружку, протянули вперед руки, властно взяли за уздцы невидимых лошадей и вдруг отчаянно затопали, изображая цоканье копыт. И запели, забазлали во все горло:

Копыта звонкие стучат
По пыльной мостовой!
Вор-роны чер-рные кричат
У нас над гол-ловой!

Голосишки у них были хилые, слух вовсе отсутствовал, но все эти нехватки они компенсировали истошностью и старанием. Народ в зале лег в лежку. Даже аккомпанирующий им мастер на все руки Яша-Пазуха хихикал, уткнувшись в меха аккордеона.

Друзья, закутайтесь в плащи!
Труби протяжно, р-рог!
Ты с ними встречи не ищи!
Бандит! С больших! Дор-рог!

Изрубив и перестреляв всех бандитов и врагов, наши гиганты не убежали со сцены, а бешено, с кулаками поспорив, что петь еще, рванули «Песенку фронтового шофера», вертя перед собой руками, будто крутили баранку. Особенно у них был отработан припев:

Эх, помирать нам рановато, эх! —

тут певцы, разом и хитро подмигнув в зал, возопили:

Есть у нас еще дома дела, да!

Теперь уже хохотали все. И мы, и директор Витя, и Вася Широчайший, и даже стоящая в дали коридора наша вечная гардеробщица Ульяна Никифоровна. Под этот хохот, гордо подняв головы, и сошли певцы со сцены.

Но следующий номер перевернул все, бросил в дрожь, пронзил сердца великим. На сцену вышла Марина Матвеевна Обрезкова. Она расстегнула две верхние пуговицы своей гимнастерки, освобождая нежную высокую шею, горло освобождая, и, переждав смех, тихо, торжественно сказала:

— Маргарита Алигер. «Зоя». Отрывок из поэмы.

Марина Матвеевна не смогла, конечно, в полную силу заменить неистовую Тасю-Маковку, не хватало ей еще мастерства и убежденности, а возможно, и глубины знания. Но она тоже любила историю, была справедлива в оценках, и мы ее приняли.

Но то, что она сделает сейчас на этой маленькой, скрипучей нашей сцене, мы и представить не могли. Это, собственно, был не отрывок, а отрывки из поэмы, самые сильные, собранные, как в кулак, в один могучий кусок. Она начала тихо, словно вглядываясь своими грустными огромными глазами в предвоенную даль:

Жизнь была скудна и небогата.
Дети подрастали без отца.
Маленькая мамина зарплата —
Месяц не дотянешь до конца...

Но постепенно, вырываясь из дали, голос ее креп, ширился — Зоя вступила в комсомол, и мы, тоже комсомольцы первого года, тоже платившие взносы по двадцать копеек, признали себя...

С девятого класса, с минувшего лета
У тебя была книжечка серого цвета.
Ее ты в отдельном кармашке носила
И взносы по двадцать копеек платила.

И остро защемило в груди от этого узнавания, но, не давая опомниться нам, Марина ударила замерший зал — войной... Военкомат. Отправка в тыл врага. Плен. Пытки. Восхождение на Голгофу... И уже не прекрасная наша учительница истории хромовыми сапожками шла по сцене, а та измученная, гордая девочка ступала по скользкой дороге обмороженными, окровавленными ногами, и не расшатанные половицы нашей школьной сцены скрипели — это скрипел обжигающий, заледеневший за ночь снег под босыми ступнями Зои... Вот она встала на табуретку и в последнем усилии схватилась за упавшую на шею петлю:

Всех не перевешать. Много нас.
Миллионы нас!..

Я вдруг представил, как раньше читала (а она, конечно, читала это и раньше — стихи были прочувствованы и поняты ею до конца), читала там, на фронте, где-нибудь стоя на танке или лафете орудия, и как обмирали, как наливались теплыми слезами и новой силой замерзшие и усталые солдатские сердца: мне стало жутко, больно и высоко.

Фашист выбил табуретку из-под девичьих окровавленных ног. Но смерти не наступило.

Жги меня, страдание чужое,
Стань родною мукою моей.
Мне хотелось рассказать про Зою
Так, чтоб задохнуться вместе с ней.
. . . .
Родина, мне нет другой дороги.
Пусть пройдут, как пули, сквозь меня
Все твои раненья и тревоги,
Все порывы твоего огня.

Марина Матвеевна давно ушла со сцены. А зал молчал. Не было сил ни хлопать, ни кричать: мы знали, мы чувствовали, что с этим мгновением нам жить долго, может, всю жизнь. Всхлипнула сзади неутешная Ульяна Никифоровна, утер невольную слезу Василий Александрович.

В этом молчании и вышел на люди Венька Рублик, наш классный Паганини. Он мучил свою древнюю, обшарпанную скрипку уже года три, с пятого класса, под началом регента Казанской церкви и нашего учителя черчения старика Степанова, обладателя могучего баса-профундо, и я не раз, заходя на Липовый тракт, где

эвакуированные Рублевы (Венька и его горбатенький отец-часовщик) обретались в приспособленной под жилье бане, слушал остервенелое пиликанье, слушал, пока хватало терпения — Венька готовился в музыкальное училище. И сейчас, если не считать его мелких халтур на еврейских свадьбах и на русских похоронах, он впервые проходил проверку на публике.

— Сен-Санс. Рондо-каприччиозо! — испуганно объявил он и как вытный (на Зые так называли тех, кто хотел казаться взаправдашним, настоящим) положил на плечо, под скрипку, белоснежный платок, тряхнул кудрявой головешкой и поднял смычок...

Я не раз обмирал, слушая по радио это пронзительное и верно капризное рондо, и похолодел за Веньку: хоть не первый, но все ж приятель, родная душа,— а вдруг сорвется? Или, как там у них, лабухов, говорят,— облажается... Но или все были еще под впечатлением высоких стихов, или Венька на самом деле кое-чего добился за эти мученические годы в своей баньке, но его тоже слушали серьезно, без смешков, тоже замерев, и проводили аплодисментами. Потом опять вышел Яша-Пазуха и, разгоняя торжественную тишину, вдруг ударил своей пятерней по клавишам:

— А теперь заключительный номер нашей программы! Мы, правду сказать, не репетировали, товарищ решил выступить в последний момент... Итак — Леонид Шакалов! Народный русский танец «Цы-га-ночка»!

Когда пели наши вшивари-гиганты, мы думали, что это уже предел смеха. Но оказалось, что смешному, как и трагическому, предела нет. Шакал влез на сцену красный, в растоптанных ботинках, в отвислых на коленях, сроду не глаженных штанах и громко на весь зал шмыгнул носом. Пролетел легкий смешок, и теперь мне стало по-настоящему страшно за моего бедного и настоящего друга: зачем он-то вылез? Опозорится ведь. Чучело!

Я, понятно, и не воображал, что всех нас ждет настоящий праздник!..

— И — раз! — скомандовал Яша-Пазуха.

Ленька выкинул далеко вперед свою длинную ногу, задержал ее в полете и, когда Яша рванул мехи, со страшным грохотом опустил на пол. И пошел, поехал... Обучался он этому дикому танцу, видно, в первых классах, а может, в детском еще садике (в военную голод-

ную пору ему явно не до плясок было), движения его сложностью не отличались, были по-детски однообразны, но каким азартом, какой страстью кипели его приседания, отчаянные хлопки ладонями по впалой груди и худым ляжкам, его дикие выкрики, взмахи ног и рук! Казалось, он вот-вот разлетится на части, не соберешь после...

Зал хохотал, визжал, топал вместе с Ленькой десятками ног — колебалась не только сцена, весь наш старый деревянный пристрой ходил ходуном, как при землетрясении. А Ленька плясал, вытаращив глаза... И вдруг в этом грохочущем содоме меня пронзила простая до слез догадка: Ленька плясал больше не от радости, что свалил тяжкие экзамены, что закончил школу, нет! Своей первобытной пляской он благодарил, как мог, меня, класс, учителей своих. Он понимал, что нелеп, смешон, но он все-таки не струсил, вышел на люди, милый, честный, чистый, всеблагородный Ленька!..

И я уже не мог понять: смех или рыдания рвутся из моего горла...

Ленька сделал последний отчаянный прыжок, и тут один его разбитый обуток сорвался с ноги и, тяжелым снарядом просвистев над нашими головами, упал возле Ульяны Никифоровны, и она отпрыгнула от него, будто боясь взрыва.

Зал ответил на это уже бессильным смехом. А наш бедный Вася Широчайший, тонкой натуре которого смешное в таких чудовищных дозах было просто смертельно, в изнеможении упал на плечо директора Вити. Великий же плясун спрыгнул на одной ноге со сцены и так, на одной ноге проскакал к Ульяне Никифоровне.

— Концерт окончен! — крикнул Яша-Пазуха.— До следующего года, ребята!

...Слова его еще звучали в воздухе, но первая наша пятерка во главе с Ванькой Хрубилой встала и пошла. От школы, слева и справа, спускались к реке два проулка — Кривой и Короткий. Ванька вел свою дружину к Кривому, чтобы перекрыть Лехе Быкову все пути отступления. Следом, чуть подождав, поднялся Борька Петух, и вторая наша пятерка двинулась в Короткий — встречать Леху...

Он не появлялся долго.

Мы уже закурили по второму «гвоздю» — курили по

случаю окончания учебы не обычный самосад, а папиросы, хоть и тонкие.

Лехи не было.

— Может, ночевать он там останется,— проворчал Борька.— Зря ты, Пылаев, предупредил, что мы его бить будем. Сдрейфит или охрану из учителей возьмет.

— Нет,— сказал я.— Он хоть и гад, но не трус.

И, подтверждая мои слова, на высоком крыльце школы, хорошо видном из нашей засады, возник Леха Быков. Красивый и широкоплечий в своей расстегнутой сталинке — настоящий мужик. По спине моей пробежал холод: а что, если мы не справимся с ним?.. Леха взглянул по сторонам, видно, ища нас. Не нашел. И, спрыгнув с крыльца, спокойно пошагал серединой улицы.

Домой.

Я растоптал папироску, вытащил из кармана и надел пилотку.

— Пошли,— сказал Борька.

И наша пятерка встала на Лехином пути. Выросла так внезапно, что тот даже замер от неожиданности, невольно оглянулся назад. Сзади, тоже покинув свою позицию, надвигалась на него пятерка Ваньки Хрубилы.

— Так,— сказал Леха.— Десять на одного? Мало что-то вас... Ну, кто первый? — И, наклонив голову, утопив свой могучий подбородок в вороте рубашки, он встал в боксерскую стойку.— Жду.

И тут, словно камень из пращи, вылетел из нашего сомкнувшегося кольца Ванька Хрубила — так же, как когда-то летел он на Витяя Кукушкина, отчаянно, без оглядки, но уже с большой силой и умением выросшего и приобретшего опыт в последующих драках. Леха не успел среагировать на Ванькин прыжок, его страшный кулак только скользнул по шишкастой голове, и Ванька врезался в Лехин бок. Быков качнулся, и сразу мы все навалились на него и, подмяв, рухнули в пыль дороги. Мелькнули кулаки. Еще минута, и наш тиран был вбит в землю. Но Серега Часкидов, благородный и нежный начальничий сынок, крикнул:

— Стой, ребята, лежачего не бьют.

Мы отпустили нашего врага и встали. Он лежал, все еще закрывая локтями лицо. Потом медленно поднялся, весь, от растерзанного пробора на голове до щегольских сапог, в пыли и грязи. По могучему волевому под-

бородку текла слюна, а в глазах его, маленьких и волчьих глазах, я увидел то, что, думал, никогда не появляется в них: страх!

— Не надо, парни,— попросил он.— За что?

— Чо, не сладко? — усмехнулся Борька Петух.— А нас лупить сладко было? Да?

Тут к Лехе молча шагнул Серега Часкидов и два раза, слева и справа, ударил его по щекам. Не сильно, ладошкой, больше для позора.

Мы замерли — сейчас Леха не стерпит и врежет открыто стоящему перед ним Сереге, и мы снова ринемся на него.

Но это был уже не тот грозный Быков, а безликое существо, впервые, внезапно и до конца, смятое страхом: идя на вечер, идя на нас, он и сам, конечно, не знал, что с ним такое возможно...

— Ну, извините, парни,— повторил он, тряся толстыми губами.

Все невольно отвели от него глаза: больно противно было глядеть на униженное, грязное, слюнявое это лицо. Ребята смотрели на Борьку Петуха, априори признанного лидером, главой нашей вновь победившей классной республики. А Борька поглядел на меня.

— Ну, как, Пылаев, отпустим, ли чо ли, зайца? А то в галифе свое накладет, развоняет на всю улицу.

Я через силу снова повернулся к моему вчерашнему сюзерену и столкнулся с его глазами: в них была такая тоска, боль, такая мольба, что моя ненависть растворилась в жалости и стыде за него. Жалость к людям, стыд за них, любовь к ним — это были не случайные и временные, как ненависть, это были изначальные, вечные, с молоком матери впитанные нами, зыйскими ребятами, чувства.

— Ладно,— сказал я.— Пусть катится. Но чтоб ноги его больше в нашей школе не было. Пусть за три километра обходит ее, скот позорный.

— Что стоишь — иди,— сказал Часкидов Серега.— Пока мы добрые.

Леха нерешительно двинулся через наше кольцо. Мы молчали. И только Ванька Хрубила — у него воспитание все ж таки было другое, зареченское! — со слезами обиды крикнул:

— Да вы чо, сдурели, робя!.. Вы хоть слово с него возьмите, а то изуродует он нас потом по одному!

— Обещай! — приказал Петух.

— Обещаю,— Леха вытер ладонью слюну.— Никого не трону, сука буду.

И когда мы расступились и он почти освободился из наших тисков, на крыльцо школы вылетела историчка Марина Обрезкова. И спрыгнула на землю, и, высоко поднимая в беге белые коленки, кинулась к нам, на миг замерла перед растерзанным Лехой, убедилась в своей догадке, быстро оглядела нас и, рванувшись, вцепилась мне в грудь:

— Это все ты, гигант мысли, устроил! — крикнула она, рвя своими руками мою рубашку и пиджак.— Друг-предатель! Брут сопливый!

Исчезла хорошая учительница и замечательная артистка — перед нами бесилась разъяренная, как ее темные предки в драках, ключевская девка.

Вот когда мне стало и в самом деле невыносимо больно: я ведь, дурак наивный, несмотря ни на что, мечтал и надеялся, мучаясь по ночам первой любовной тоской, что не так когда-нибудь коснутся меня эти нежные руки и не ненавистью будут гореть эти прекрасные огромные глаза... «Господи! Дай мне силы не упасть,— молился я про себя, дергаясь в ее руках.— Дай мне силы пережить это, господи!..»

И бог услышал — Обрезкова отпустила меня и, полуобняв за плечи нашего врага, повела его от нас. Они шли назад, к школе. Меня же обнял Борька Петух:

— Брось, Дениска, не расстраивайся. Дура она, слепая дура. Что с них возьмешь, с баб? — И он вдруг запел, заорал вслед уходящим одну из популярных среди нас в то время английских морских песенок, чуть переиначив ее:

Будьте к нему не строги.
Он ведь устал с дороги.
Дайте стакан вина!

А Ванька Хрубила засунул в рот два пальца и поразбойничьи похабно свистнул. И от Борькиной ли песенки, от этого ли свиста, или сам вдруг поняв позор бабьего заступничества, Леха Быков, не доходя до школы, рванулся из рук Марины Матвеевны и кинулся прочь вдоль улицы. Он убегал, сопровождаемый пронзительным, теперь уже общим свистом...

— Что-то неохота домой идти,— сказал Борька Пе-

тух.— Больно уж вечер хороший. Айда, робя, на Лисью гору.

— Нет,— замотал шишкастой головой Ванька Хрубила.— Я в свою Заречную побегу. Хвастаться, пока светло. Ведь мои предки, да и вся улица, не верили, что я школу-то кончу. А вот оно, свидетельство! Одно на всю Заречную.— Ванька вытащил из-за пазухи смятый лист, разгладил его.— Пока, робя. Теперь можно и в горный техникум двигать!

Он пошел. За ним потянулись и другие. Остались мы только втроем. Соседи: Борька Петух, Часкидов и я. Да еще за углом Кривого переулка я заметил давно торчащую там тощую фигуру моего друга Леньки Шакалова. Но с собой не позвал: скучно нам с ним будет, да и ему среди нас, умников, одиноко... Завтра увидимся, Ленька!

— Ну, пошли,— сказал я. И прочитал из Гейне, или, как упорно называл его на немецкий манер Вася Широчайший, из Хайне:

Auf die Bergen will ich steigen!

А Борька Петух опять запел своим дурным — без слуха, без памяти — голосом. Снова одну из английских, переделанных на наш зыйский лад песенок:

В Кейптаунском порту с какао на борту
«Жанетта» заправляла такелаж.
И прежде чем уйти в далекие пути,
На берег был отпущен экипаж.

И мы, снова свободные граждане, вольные пожиратели пространств, торжествуя свою победу, заорали в три юных глотки припев:

Идут, сутулятся,
Вливаясь в улицы,
И клеши новые ласкает бриз!..

На Лисьей горе, парящей своей голой вершиной и древней сторожевой башней над всем нашим городом, я не был лет пять, всю войну не был — жизнь шла в голодной суете, в трудной борьбе жизнь шла: не до высокого парения, не до тихих спокойных дум нам было.

Когда мы, отдышавшись от крутого подъема, уселись на сложенном из доисторических гранитных плит высоком цоколе башни, на город далеко внизу под нами легли поздние июньские сумерки. Окраины — Ключи, Тальянка, Зыя — были уже едва различимы, просто уга-

дывались по первым вспыхнувшим огням, зато старый завод четко выделялся на фоне неба округлыми контурами домен и кауперов, да городской пруд, привольно раскинувшийся до самых дальних лесов и накопивший в глуби своей за долгий день огромный запас солнца, возвращая его, светился изнутри темной голубизной, почти синью. И на этой сини бесшумно скользили паруса, как белые бабочки-капустницы, сложившие крылья, и казалось, что там, вдали, они расправят крылья, вспорхнут и скроются в темноте неба... Тогда, в первые послевоенные годы, парусников было много на нашем пруду — потом их вытеснят практичные, быстрые и вонюче ревущие моторки. Но это будет потом — тогда по голубой сини пруда летели белые паруса.

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...—

не выдержал и вспомнил Серега. Я же опять прочитал из Гейне, из любимой Васей «Лорелеи»:

Прохладен воздух, темнеет,
Но Рейна глубь светла.
В лучах зари пламенеет
Высокая скала...

А Борька Петух, вечно крикливый, ехидный, деревянный Борька, стихов этих знающий прорву, сейчас неожиданно притих, бросил со скалы вниз нераскуренную папироску, заложил руки за голову и сказал лишь:

— Как привольно-то, робя! Как хорошо!

— И жизнь только начинается,— сказал я.

— И войны больше нет,— сказал Борька.

— И никогда больше не будет,— сказал Серега.

Мы опять замолчали. И только когда на Лисью гору, на нашу скалу совсем легла тьма, на сторожевой башне зажегся предупреждающий самолеты красный маячок, и мы встали, чтоб спускаться, Борька показал вдаль:

— Глянь, робя. А в нашей-то школе окна светятся.

Действительно, в нашей далекой девятой школе, хорошо видной отсюда, потому что она стояла на угоре, на красном месте Зыйского Криуля, в каменной ее части на втором этаже пластали все окна.

— Учителя, наверно, наш выпуск празднуют.

— И Вася Широчайший с Ульяной Никифоровной танцуют танго.

Мы засмеялись, представив эту невероятную сцену, и так, смеясь и дурачась, спустились вниз к городу.

Мы вернемся сюда только через три года, после десятого класса, после долгого, на всю ночь, с вином выпускного бала. Так же тихо будет лежать внизу Мой Город, еще не пробудившийся, в ранней голубой дымке, а остывший за ночь пруд, уже светлый посередине, будет исходить по берегам легким туманом. Но душам нашим не станет здесь так же легко и тихо. Мы придем сюда не одни, и подружки наши, девочки из соседней женской школы, будут ломаться и хныкать от усталости и утренней прохлады, а нас — томить уходящий хмель. Но больше — жалость к минувшему ясному прошлому и тревожная неопределенность будущего...

Нет, никогда нам уже не станет так хорошо, как в наше первое послевоенное восхождение на Лисью гору...

Мы миновали центр, процокали каблуками по настилу Моральского моста, вышли на улицу Фрунзе.

И тут под фонарем на углу Зыйского Криуля нос к носу столкнулись, врезались с ходу в него.

В Леху Быкова.

Как раз на том самом месте, где была в войну глубокая яма — место наших детских кровавых ристалищ, теперь, слава богу, засыпанная.

Уже по виду Лехи — он стоял, широко расставив ноги и улыбаясь,— мы учуяли что-то неладное.

— А, вот они где, народные мстители,— сказал Леха, зачем-то натягивая в такую теплынь на большие кулаки кожаные перчатки.— Мы их по всей Зые ищем, а они лунные ванны принимают. Ха-ха-ха!

Рядом с ним, чуть сзади, полукругом стояли — кто, точно разобрать было трудно. Пять молчаливых фигур, пять телохранителей нашего красавца Быкова, возможно, из того же «Военторга». Их явление здесь говорило: Леха готовил расправу...

Почему же мы тогда, все поняв, не кинулись врассыпную, не пустились в спасительные бега? Вряд бы догнали они нас в наших родных зыйских, до камешка знакомых нам улицах и закоулках... Но, видно, после всего, что было в тот вечер,— нашего выпуска, нашей победы, нашего свободного парения на Лисьей горе,— к позорному бегству мы просто были не способны. Да и страха мы не чувствовали. Разве могли мы бояться человека,

еще час назад трясшегося от страха и униженно, слюняво просившего у нас прощения?

Так мы и стояли, тоже молча наблюдая, как обходят нас тени, прижимая к Быкову, уже натянувшему (чтоб не побить пальцы) движением палача (чтоб не оставить на себе наших следов) свои офицерские перчатки.

— Значит, «за гранью дружеских штыков» нас уродовать станешь? — Сумасшедшая память Борьки Петухова и тут не подвела, сработала четко: «Мцыри» вспомнил! Ну, гений!

— Заткни хаволо! — Кто-то, самый большой, прихватил его сзади за локти.

И тогда выступил вперед я, потверже уперся в бугорок под ногами: я затеял всю эту историю, и мне первому отвечать:

— Бей, сволочь! Бей, мешок с дерьмом из американской тушенки!

Леха шагнул ко мне и откинулся всем телом назад — для удара! Но удара я не почувствовал, боли тоже — наоборот, легкость свободного, параллельно земле полета. И, врезавшись в землю, тут же вскочил — под новый удар, для нового злого крика. Но крик мой вдруг захлебнулся в чем-то горячем, соленом, мгновенно затопившем нос, рот, глотку, и, чтоб горячее красное не хлестнуло на рубашку, навек испортив ее, я машинально сорвал с головы забытую пилотку, пилотку скелета Феди, и прижал ее к лицу...

Моя кровь! Кровь человека. Кровь всех живущих существ на земле. Несравненное творение природы — великий жизненоситель... Пока ты есть в нас, пока ты движешься, потоком в аорте и капельками в малых капиллярах,— мы живы. Остановилась, иссякла — и нас нет...

Тогда, в ту ночь, я, гордившийся раньше своим крепким носом, который не разбивали даже в самых жестоких драках, впервые понял эту простую истину. Потом, через много лет, жизнь мне снова напомнит о ней.

Второй раз — тоже в июне, в мой уже двадцать седьмой троицын день, на буровой 711, в Башкирии...

Все у нас как-то лихо заладилось с утра. Пробурили одним рывком пять метров, «взяли деньги», потом быстро, без задержек подняли из скважины инструмент —

почти сотню «свечей», спаренных десятиметровых бурильных труб. Сменили сносившееся, с истертыми шарошками долото, поставили новое и начали спуск. Иван Трубников, наш бурильщик, только покрикивал от радости: полторы минуты — «свеча», полторы минуты — «свеча»! Если так пойдет, мы еще пяток метров рванем, всем другим вахтам свечу вставим. За тонкими щелястыми досками, которыми была снизу обшита буровая, выл степной ветер, хлестал из скважины нам под ноги глинистый раствор, а мы с Николой Лядовым, два помбура, метались у ротора, подавали с «подсвечника» и навинчивали трубы. И буровая колонна почти без остановок неслась вниз, и не было обычной усталости от борьбы с железом — была легкость и счастье успешной работы!.. Но когда оставалось спустить всего с десяток «свечей», верховой ветер качнул систему. Иван Трубников не успел вовремя смайнать лебедку, я поскользнулся, «свеча», вихнувшись, вырвалась из мокрых рукавиц и врезалась в меня, припечатывая к замерзшей сзади слоновьей чугунной башке вертлюга. «Все, кранты»,— успел подумать я... Но тот же глинистый раствор, на котором я поскользнулся, меня и спас — унес вниз мои ноги, и труба только шаркнула резьбой мне по лбу, а вертлюг, разодрав затылок, не успел сплющить голову — из-под смятой фуражки хлестнула, мешаясь с желтым раствором, красная кровь — моя кровь.

Я не помню, как они, мои ребята, вахта моя, бегом, меняясь друг с другом, несли меня три километра в поселок, как там накладывали швы... Когда-нибудь я напишу (если раньше не придет мое последнее кровавое искупление), я напишу о том, как проснулся ночью, разбуженный безудержным из открытого окна щелканьем соловьев и прорывающимися сквозь него звуками недалекого баяна, как поднялся, бережно придерживая перебинтованную толсто голову пальцами, которые сразу стали красными, кровь еще сочилась, пропитывая слои бинтов и ваты, как пошел на зов соловьев, а больше баяна, как увидел моих ребят, всю вахту, сидящую на скамейке в больничном саду, как Иван Трубников задержал руки на клавишах, как ребята сдвинулись, пуская меня рядом, и как рванули шепотом свою любимую бригадную:

Потому что день рожденья
Только ра-аз в го-оду!..

Когда-нибудь, может, я напишу и про третье мое искупление кровью. Пока самое страшное, страшное своей внешней беспричинностью. Оно пришло еще через десять лет, когда ударила меня, закрутила в неистовом вихре любовь. Ясно, не первая и, возможно, не главная. Но любовь, не знающая пресыщения и сна, страсть, не ведающая усталости и открывающая такие таящиеся во мне силы, которые были не известны доселе даже мне самому. О, как я был здоров, как легок и счастлив. И когда через две недели мы решили на время расстаться: мне надо было сделать срочную работу — и я, придя в заброшенную свою комнатенку, вложил в пишущую машинку чистый лист и пошел в ванную умываться перед началом,— на белый кафель ванной капнула из моего носа маленькая красная капля. Потом другая... Я намочил полотенце, положил его на лицо, лег на кровать. И — сладко задремал. Очнулся от нехватки воздуха — кровь булькала в моем горле, стекала с полотенца, лужей стояла на полу. Я поднялся, но успел дойти только до двери — упал. Я лежал и с безразличным спокойствием наблюдал, как кровь течет по груди, по рукам, расползается по половицам, вытекает под дверь. Я смотрел, как вытекает из меня моя жизнь.

Потом дверь открылась сама.

Но спасла меня не моя любовь, учуявшая беду и кинувшаяся на выручку, нет — меня спасла соседка, продавщица из мясного отдела, пришедшая взять с меня старый долг. Спасибо вам, люди, выручающие нас...

И тогда, лежа с двумя капельницами — вливание делали сразу в обе руки,— я и подумал, что за все лучшее в жизни человек расплачивается главным ее носителем — кровью! И за счастье свободы, и за счастье труда, и за счастье любви! Но вначале и прежде всего — за счастье свободы!..

— Ну, этот заткнулся,— сказал Быков.— Долго будет помнить нашу дружбу.

Я вылил из пилотки натекшую кровь, хотел сказать, что нет, не заткнулся, что все запомню, но из губ вылетели, лопаясь, только кровавые пузыри, а движение мое остановил один из подручных, прихватив сзади за шиворот. Быков двинулся на Борьку Петухова. Борька

закрыл лицо руками, но Быков ударил снизу, в солнечное сплетение любимым своим апперкотом, который он мне, хвастаясь, не раз показывал. Борька согнулся, потеряв дыхание, опустил руки. И тогда Быков сокрушил его крюком в челюсть, и Борька упал, царапая ногтями землю, все еще не в силах продохнуть...

— Давай кончай,— просипел один из дружков, самый большой, тот, что стоял за Петуховым.— Светает.

— Один момент,— сказал Быков, снова поднимая свой кулак — уже на Серегу.

Но странно: самый из нас слабый на вид Серега Часкидов, к тому же защищавшийся только одной рукой, другую он зачем-то прижимал к животу, видно, оберегая печень — желтухой маленький болел, наш Серый держался дольше всех. А может, дело было не в его стойкости — просто Быков не хотел заваливать его сразу, а бил расчетливо, скользом, что особенно больно и оставляло синяки,— мстил ему за те две позорные пощечины... Серега качался, но не падал, стоял...

— Кончай в натуре... Горим мы! — не выдержал еще один из наемников.— Вдруг кто зашухерит!

И Быков замахнулся для решающего удара.

Но тут в полумраке уже наступившего рассвета — долго же он нас уродовал, гад! — из-за угла вылетела какая-то долгая, нелепая фигура и повисла на быковской занесенной руке. Быков качнулся от неожиданности, а мы — и я, и поднявшийся на колени Борька, и Серега с его начинающим уже синеть и опухать ликом — разинули рты: на руке Быкова висел Ленька Шакалов! Мой сердечный, до конца преданный друг... Значит, ему тоже не спалось, и он бродил за нами следом, томимый теплой ночью и радостью конца учебы, шастал по улицам, не решаясь подойти к нам, боясь помешать, показаться лишним... Милый, смешной, верный Шакал!

Растерявшийся сперва Быков, узнав его, зло хохотнул, но в злобе его уже чувствовалась истеричность, и, развернувшись, свободной левой врезал Леньке в его слабый тощий живот. Тот дрыгнул длинными ногами, без звука ткнулся носом в пыль. Ну зачем он лез, бедолага?..

Быков наклонился, чтоб поднять и бить Леньку дальше, но Серега Часкидов, один глаз которого совсем заплыл, остановил Быкова криком:

— Не тронь его, мерзавец!

А «большой», отпустив Борьку Петуха, выставил вперед кировские часы-бочата на волосатом запястье, взмолился:

— Закругляйся, Леха... Ну и колотушка у тебя. Как иконы, салаг разрисовал.

— Погоди, парень,— я наконец сплюнул, вытолкнул из горла комок, мешавший мне говорить.— Оставь его нам. Оставь его нам. Закругляться рано.

— Еще захотел, старый друг? — усмехнулся Леха, уже снимая перчатки и отступая от нас, чтобы присоединиться к дружкам.— Мало тебе?

— Мало! — закричал я и со всего маху, со всей силой своей влепил ему в толстую щеку, в его четкий тяжелый профиль, влепил кровавую свою пилотку. Вот где она пригодилась, сердечная! Боевая солдатская пилоточка из зеленого выцветшего ХБ...

Быков рванулся ко мне с нутряным каким-то стоном. Но, увидев уже окончательно вставшего на ноги Борьку, и сжавшего кулаки Часкидова, и меня, тоже готового к отпору, а главное, услышав топот своего убегающего боевого охранения, словно споткнулся, отодрал от щеки пилотку, оставившую на его барской коже кровавый, теперь уже никогда не смываемый след, повернулся и кинулся наутек.

— Куда же ты, сука? — заблажил Борька Петух.— Ты же клялся нас по одному не лупить? Продал свое слово! Стой!

Но Быков бежал, не оглядываясь, по-бабьи ворочался в беге его толстый зеленый зад. Тогда врезал ему в спину Серега, один глаз которого уже совсем заплыл:

— Ты кого испугался, чудо-боксер? Колотушка всемирная! Трех пацанов? Ты же моща, а нас всего трое. Всего трое — куда ты, фашист?

Эти слова будто ухватили за спину и остановили Быкова: а верно, кого он испугался? Троих изуродованных мальчишек, которых начисто вырубят три его хороших удара?.. Он разъяренно скривил окровавленную щеку и метнулся к нам. Я невольно поглядел кругом, ища глазами хоть какой-нибудь камень, хоть какое-нибудь оружие, но площадка под уже угасшим фонарем была пуста.

И тут восстал из пыли забытый нами наш заступник Ленька Шакал.

— Иди, иди сюда, угнетатель,— растянул он в гримасе ненависти и боли свой большой рот.— Нас всего четверо... Ну, шагай прытче, гнида военторговская!

И Быков стал... Да, из него, будь он иной закваски, мог выйти толковый военачальник — это не обычный человек, дающий увлечь себя страстям, даже таким, как ярость,— это командующий, пусть над собой, но командующий, трезво оценивающий обстановку, не теряющий голову и если бьющий, то бьющий наверняка, до победы... А мог ли он сейчас победить этих четверых, пусть уже избитых сопляков? Победить в одиночку, без защитников? Бабушка надвое сказала. Да и светло уже, скоро люди, свидетели появятся. Не лучше ли отступить?.. Лучше! Вот так наверняка подумал он, снова поворачиваясь и пускаясь догонять пятерых, не зная, что сейчас это не отступление, а просто бегство — поражение, за которым никогда не будет победы.

Мы торжествующе завыли ему вслед.

— Стой! — раздалась, перекрывая наш вой, отработанная военная команда.— Стой, Быков!

Сзади нас, вывернув, видно, из-за того же угла, что и Ленька Шакалов, задыхался от бега наш военрук Юрий Павлович. Юрка-Палка. Он успел уже разглядеть нас, наши побитые рожи, увидел улепетывающего Быкова и тех, что, грохоча обутками, подбегали к Моральскому мосту,— увидел и все понял:

— Стой, Быков!

Но тот, услышав этот крик, только оглянулся и припустил еще быстрее, его сапоги тоже застучали по мосту. Мы сейчас могли бы кинуться в погоню. Но это было бесполезно: быковский дом, «Военторг» его матери, стоял всего в полста метрах от моста, и он успел бы скрыться за его стенами. А будить мать, поднимать шум — это уже лишнее. Пусть дрожит там, ожидая расплаты. Все равно он проиграл — струсил, сбежал, а кто убегает с места боя, тот и повержен.

Юрка-Палка вытащил носовой платок, промокнул им слабый пот на лбу и на щеках, заправил за ремень выбившийся пустой рукав.

— Я весь вечер что-то неладное чуял, последний час как на иголках сидел. Но застольничал, разговоры разговаривал, вместо того чтоб сюда бежать... Обленился, видать. Рано в мирное время поверил. А может, постарел?..

Он сокрушенно вздохнул, вытащил папиросу, дунул в нее, чтоб слабые табачинки не угодили в рот, щелкнул зажигалкой.

— Давно я догадывался,— сказал,— что этот обалдуй и его мамаша-торговка — нелюди. Но чтоб до такой степени... Чтоб под таким прикрытием темной силы калечить мальчишек — это уж слишком! Но ништяк — завтра я его с родительницей обоих на крюк подвешу! И эту шантрапу, наймитов его, разыщу. Союзничков поганых.

— Не надо,— сказал Серега, отстранив Леньку Шакалова, который уже как равный прикладывал к его синякам листы подорожника, предварительно послюнявив их.— Они же нас не трогали, просто слепые исполнители... И Быкова не троньте. С ним все кончено. Он исчез, потерялся.

— Нету его больше.— Борька Петух по примеру Юрки-Палки тоже закурил папироску, мундштук которой от разбитых губ до табака сразу пропитался кровью.— Сокрушили мы его.

— Отставить! — рявкнул Юрка-Палка.— Курить при учителе, совсем распустились.

Борька испуганно бросил папироску. И вовремя. Из Зыйского Криуля вывернули, обнявшись, вступили на поле недавнего побоища еще два наших учителя, самых главных, самых любимых — физик Яша-Пазуха и «немец» Вася Широчайший. Они тоже возвращались из школы, горящие огни которой мы видели с Лисьей горы, и Вася выступал в белом рассвете, чернея своим новым костюмом, величественно, как бог...

Да! Я забыл сказать, что в этот вечер (все-таки праздник, да и деньги, видать, подкопились) наш Вася впервые сменил свою боевую гимнастерку и потрепанные, с мешками на коленях галифе на цивильный костюм и до того чопорно-значителен стал, вовсе недосягаем.

Но сейчас пиджак его был небрежно расстегнут, а галстук, по-старомодному, чуть не бантом, толсто и коротко повязанный, слез в сторону. Зато Яша-Пазуха даже и сейчас после бессонной ночи, как всегда, не потерял формы — на костюме ни складочки, в глазах строгость.

— Это что за номера? — спросил он, разжимая объятия, в которых держал своего выдающегося, но явно

расслабившегося коллегу.— Почему не спите, и физики ваши, по-моему, не тае...

Мы дружно повернули наши «физики» в сторону, чтоб хоть не все раны были на виду, но нас спас Вася, который вдруг стал давать прогнозы и характеристики, хоть раньше по мудрости своей никогда этого не делал, зная, видно, всю тщету данного занятия.

— Подожди, Яша,— сказал он, еще больше вытягиваясь в небо на своих длинных ходулях.— Я им хочу слово произнести!.. Вы, Петухов, несомненно талантливы, но не очень смелы в решениях, и у вас нет цели, большой цели... Вы, Пылаев, наоборот, бога за бороду пока не хватаете, но в вас чувствуется целеустремленность... Выводы делайте сами... Верным другом людей останется Шакалов. Он — друг Горацио, прост, поэтому будет счастливее вас... Ну а о тебе, Сережа, у меня нет даже слов, ты уже сейчас че-ло-век! Но... но что это с твоими глазами? — Вася Широчайший удивленно вперился в Серегину синюю рожу сквозь толстые линзы своих очков.— Ты упал?

— На кулак он упал! — закричал Яша-Пазуха.— Они, лешаки, дерутся без ума, а вы, Василий Александрович, им гимны поете. Фингалы это!

— Что за фингалы? — не понял сперва Вася, а когда до него дошло, воскликнул трагически, опять, ясно, из Александра Сергеевича: — «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет!»

— Какие страсти? — психовал Яша-Пазуха.— Элементарный мордобой!

Но тут осадил Яшу Юрка-Палка, до того молчавший:

— А ты, Яков Иосифович, забыл, сколько сам в пацанах фингалов этих вынянчил? Ну, гуляли парни, поцапались из идейных соображений. Могут быть у них свои идеи?

— Должны быть! — снова воскликнул Вася.— О-бя-за-ны!

— Теперь помирились, домой идут. К мамкам. И мы, пожалуй, тоже к ним двинем.— Он обнял своей единственной рукой Васю Широчайшего.— Пошли, товарищи учителя. До нового года, товарищи ученики!

— Пошли,— согласился Вася.— Только нет у меня мамы. Не дождалась.

И они двинулись дальше. Под гору. А мы — на свою

зыю. Но за ближним углом Борька Петух притормозил:

— Слушайте, робя,— ехидно сказал он.— А наши-то несторы, наставники наши, не в себе вроде. Вина вроде хватили. «Золотого, как небо, Аи»!

Мы с Ленькой Шакалом хихикнули, и только Серега Часкидов остался серьезным.

— Ну и что? — закричал он, вытаскивая из-за пазухи свое «золотое» свидетельство и разглаживая его. (Так вот почему он защищался только одной рукой: не хотел, чтоб свидетельство выпало, чтобы Быков и дружки растоптали его своими сапогами!) — Над кем смеетесь, уроды? Они такого врага сокрушили, это вам не кретин Быков... Они первый мирный, наш, пусть худенький, выпуск отметили, свое возвращение к жизни, к работе праздновали. А вы...

— А что мы? Что мы? — заблажил Борька, пуская кровавые пузыри.— Ничо мы не видели! — Вот хитер бобер, опять вывернулся.— Это тебе померещилось. От сотрясения извилин после быковских кулаков.

Но вдруг он смолк. Снизу, издалека, от реки, до нас долетела песня. Пели мужские голоса и тоже, как и мы, о море. Но если в нашем репертуаре были английские переводные песенки о дальних странах, о девушках из портовых таверен, песенки, рожденные нашей тоской-печалью по огромному чужому миру, по неведомой фантастической любви, то песня мужчин внизу была, хоть в ней звучала тоска и любовь, была рождена совсем другим. Они пели о русском моряке, который поскитался за войну по неродным краям, «в любых морях бродил и штормовал, но...»

Но не оставил там души ни крошечки,
Ей-ей!
Она для нас... она для нас...
Она для Насти-Настеньки моей!
Она для милой Настеньки моей!..

Это пели наши родимые учителя-фронтовики.

А над Красным Камнем всходило солнце. Сейчас — я знал — из ворот наших улиц хозяйки выгонят коров в пасево, а к водонапорной колонке, прихрамывая и упершись худой грудью, как в хомут, в ручку самодельной «тачанки», едет за водой мой отец — поливать чахлые от страшного, без дождей, солнца первые всходы картошки... Единственный раз ошиблась в своих про-

рочествах старая колдунья Часкидиха, Серегина бабушка: пережил смертную тоску мой батя. Хоть израненный, хоть после плена, хоть на год позже, но вернулся домой...

И этот восход солнца над Моим Городом, эти тщетные, но великие попытки моего отца помочь природе, эта грустная и счастливая Песнь Возвращения моих учителей, а не наши маленькие, преходящие боли и победы, не наша борьба за власть — были тогда главным. И — вечным!

...Но все же — так ли были мелки, так ли бесследны наши детские дела-делишки, если они и сейчас, через много-много лет, живут в памяти и совести, заставляя сжиматься сердце и не спать по ночам?

□□□

Путилов Б. А.

П90 Сокрушение Лехи Быкова: Повесть. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.— 128 с. с ил.

20 к.

На страницах повести идет серьезный разговор о человеческом достоинстве, о ценностях подлинных и мнимых, о выборе своего места в жизни. Адресуется старшим школьникам.

П $\frac{70803-081}{М158(03)-82}$ 4803010102 Р2

ИБ № 935

Борис Анатольевич
ПУТИЛОВ

СОКРУШЕНИЕ
ЛЕХИ БЫКОВА

Редактор С. В. Марченко
Художник В. Ф. Дьяченко
Художественный редактор В. С. Солдатов
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры И. П. Кирсанова,
Г. Г. Быкова

Сдано в набор 30.06.81. Подписано в печать 22.12.81.
НС 12329. Формат бумаги $84 \times 108^{1}/_{32}$.
Типографская № 2. Литературная гарнитура.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 6,7. Усл. кр.-отт. 7,12.
Уч.-изд. л. 6,8. Тираж 50 000. Заказ 308.
Цена 20 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск,
620219, ГСП-351, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151,
Свердловск, пр. Ленина, 49.

Издательство
будет благодарно тем,
кто поделится
своим мнением об этой
книге.
Наш адрес:
Свердловск, ул. Малышева, 24
Средне-Уральское книжное
издательство

20 коп.

Борис Путилов

СОКРУШЕНИЕ ЛЁХИ БЫКОВА